В.В.Одинцов

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ



В.В.Одинцов

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ

КНИГА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

Издание третье, исправленное.



МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1988

ББК 81.2Р
О-42

Рецензент доктор филологических наук,
старший научный сотрудник
Института языкознания АН СССР *Л. П. Крысин*

Одинцов В. В.

О-42 Лингвистические парадоксы: Кн. для учащихся ст. классов. — 3-е изд., испр. — М.: Просвещение, 1988. — 172 с.: ил.

ISBN 5-09-000520-6

Книга в популярной и увлекательной форме рассказывает о важнейших явлениях, происходящих в жизни языка, о том, что язык — стройная система с присущими ей логическими отношениями, обеспечивающая взаимопонимание людей.

Пособие раскрывает учащимся тайны жизни языка, показывает, что изучение языка — увлекательная наука, полная неожиданных находок и открытий.

2-е издание вышло в 1982 г.

О $\frac{4306020000-321}{103(03)-88}$ 195—88 **ББК 81.2Р**

ISBN 5-09-000520-6

К ЧИТАТЕЛЯМ

«Ничто для нас столь обыкновенно, ничто столь просто кажется, как речь наша, — писал выдающийся русский писатель А. Н. Радищев, — но в самом существе ничто столь удивительно есть, столь чудесно, как наша речь... О вы, любители чудес, внемлите произнесенному вами слову, и удивление ваше будет нечрезмерно...»

Каждая наука имеет свою систему понятий, отражающих характерные особенности тех фактов, явлений, которые она изучает. Лингвистика изучает язык. Лингвисты пытаются установить закономерности, лежащие в основе этого сложного и многогранного явления, помочь в овладении языком, облегчить взаимное общение людей. Но вот в открытой, установленной закономерности наблюдаются какие-то неожиданные отклонения, исключения. Начинаем присматриваться к ним и обнаруживаем новую закономерность, иногда другого плана, другого уровня.

Взять хотя бы орфографию. Скажем, краткая форма от прилагательных *случайный, знойный, стройный, спокойный* будет *случаен, зноен, строен, спокоен*. Усвоив это, ребята иногда от прилагательного *достойный* образуют краткую форму по аналогии, тогда как надо писать *достоин*. Почему? Зачем мы пишем букву *ь* в конце таких слов, как *рожь, мышь?* Ведь никакой мягкий знак не произносится, шипящие *ш* и *ж* произносятся твердо. Для того, чтобы отличить эти существительные женского рода от слов мужского рода, например *нож, камыш?* Но кому из русских это неизвестно! Да и правило требует сначала установить род слова, оканчивающегося на шипящую, а потом уже решать, ставить *ь* или нет. Почему мы пишем *и* в словах *ножи, мыши,* хотя произносим *ы?* Куда убегают гласные в словах *сон, день* в родительном падеже — *сна, дня* — и почему этого не происходит в словах *сом* или *дом, сор* или *дым?*

Для того чтобы понять эти явления, необходимо об-

ратиться к языку далекого прошлого, языку Древней Руси, который дошел до нас в старинных надписях, памятниках, относящихся к X в. и более поздним временам. Древнерусский язык существенно отличался от современного — и по звуковому строю (даже многие хорошо известные нам слова произносились иначе), и по грамматике (например, было три числа — единственное, множественное и двойственное; пять типов склонения, несколько форм прошедшего времени — подобно тому, как их несколько в современных западных языках, и др.). В течение столетий язык изменялся, изменялся хотя и медленно, но непрерывно. Однако некоторые формы сохраняются, живут (это неизбежно — изменения в языке не могут быть внезапными, тогда люди вдруг перестали бы понимать друг друга), эти-то формы и оказываются странными, необычными, представляют исключения, кажутся на первый взгляд парадоксальными.

Но не все факты можно объяснить, обратившись только к древнерусскому языку. Многое становится ясным, когда лингвисты сопоставляют близкородственные языки (например, славянские — русский, украинский, польский, чешский, болгарский и др.) или языковые группы (выяснилось, например, что славянские языки родственны романским, т. е. латинскому, французскому, итальянскому и др.; германским, т. е. немецкому, английскому и др.; балтийским и др., а их общий предок условно назван индоевропейским; к числу родственных относятся также иранские языки, древнеиндийский и др.).

Подобные языковые факты, объяснимые путем сопоставления с близкородственными языками или языковыми группами, являющиеся исключениями из общей системы русского языка, кажутся на первый взгляд также лингвистическими парадоксами.

Лингвистический — значит связанный с языкознанием, лингвистикой; парадокс — обозначает странное, необычное явление, противоречащее установленным закономерностям, иногда даже здравому смыслу.

В этой книге рассказывается о некоторых явлениях, характерных для русского языка. Автор не стремится дать полные ответы на вопросы, которые решаются современной лингвистикой, он только хочет обратить внимание на то, каким сложным и вместе с тем совершенным инструментом является язык, которым мы пользуемся в повседневном общении, как он богат и выразителен.

ЯЗЫКОВАЯ ЛОГИКА

ЛАБИРИНТ

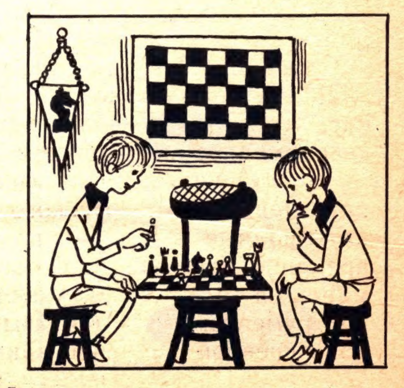
Как ни многообразен мир, как ни сложны явления и понятия действительности, мы всегда можем о них рассказать: обозначить явления и понятия словами, слова соединить в предложения, предложением выразить нашу мысль. Как будто бы все в языке четко, стройно, логично. Можно ли в этом сомневаться? Оказывается, можно.

К. И. Чуковский в книге «От двух до пяти» рассказал, как возмущался один мальчик:

«— Это не настольная игра, а настульная. Ведь я же играю не на столе, а на стуле».

В самом деле, почему обязательно говорить *настольная игра,* если в нее можно играть и на стуле, и на полу, и вообще где угодно? Легко возразить, что чаще всего в настольные игры играют на столе, поэтому их так и называют.

Часто мы слышим выражения *ужасно хорошо, страшно красивая* и, если вдруг спохватываемся, начинаем рассуждать: как же это может быть — *страшная* и вдруг *красивая?* Можно было бы посмеяться над явной нелогичностью этих выражений, если бы мы не встречали их в произведениях признанных знатоков русского языка, у наших мастеров слова.



Из письма в научный журнал: «Можно ли говорить так: *Встреча с песней?* Такой вопрос мне задали внучки-школьницы. Я спросила их мнение. Они ответили: «Нет!» И обосновали тем, что слово *встреча* может употребляться только при проти-

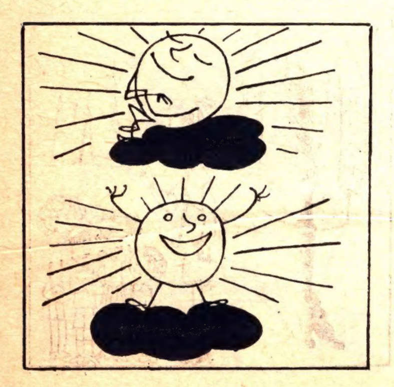
воположном движении людей, живых существ, транспорта, ветра, воды и др. Они заявили, что без движения не может быть встречи!..»

Ответ лингвиста: «Если учитывать возможность употребления слова в переносном, метафорическом значении, словосочетание *встреча с песней* не заключает в себе ничего необычного и не противоречит идее противоположного движения в слове *встреча:* можно ведь допустить, что люди ждут, ищут песню, а песня «идет» к людям. Другое дело, хорошо ли это выражение, когда оно становится штампом в газетном стиле».

Время от времени нам то или иное выражение кажется нелепым, нелогичным. Легендарный Крош, приключения которого так живо и выразительно описал А. Рыбаков, рассуждает:

...На улице мы играем в одну игру: разбираем всякие нелепые названия. Например, магазин «Культтовары». Что это значит? Культурные товары? Выходит, в других магазинах товары некультурные? И могут ли товары, сами по себе, быть культурными или некультурными?.. Или вот еще: «Инпошив». Я всегда думал, что приставка «ин» от слова «инвалид» — артель инвалидов шьет платья. Оказывается, ничего подобного. Приставка «ин» от слова «индивидуальный». Довольно нелепо...

Названия и впрямь нелепые, но в отдельных ли выражениях суть? Если присмотреться внимательнее, мы заметим подобные языковые неточности повсюду. Вспомним, сколько замечательных умов погибло, доказывая ту великую истину, что Земля вращается вокруг Солнца. А в обыденной жизни нас устраивают старые представления, и мы говорим солнце *всходит* и *заходит* или еще более нелепо: *солнце встает, солнце садится.* Вопреки всем законам физики мы говорим *теплая одежда, шуба хорошо греет,* хотя прекрасно знаем, что шуба не печка, что шуба только сохраняет тепло нашего тела. Ваш товарищ простудился, вам скажут: *Он не пойдет в школу, у него температура.* Как будто у других нет температуры. Хуже того, говорят: «У нее нервы», «У нее голова» или «У нее сердце», имея в виду, что у



нее расстроены нервы, болит сердце или голова. Про спортсмена говорят: «Сегодня он в форме», — и всем ясно, в какой форме. Говорят: «Собирайтесь! Только в темпе!» — и мы сразу понимаем, в каком темпе надо собираться.

Известный профессор, изобретатель, с обидой говорил мне: «Вот я читаю в газете: «Съезд творческих работников...» Кого это? — Художников, музыкантов, артистов, но не инженеров, и не ученых. Получается, значит, если выходит актер на сцену, чтобы только сказать — «Кушать подано», — то это творческая деятельность, это творческий работник. А инженер, который изобрел новую машину, — это не творец? Не творческий работник?» Удивительно неточно мы выражаемся! Самое же странное то, что все при этом прекрасно понимают друг друга. Говорят неточно, а понимают правильно!

Может быть, грамматика помогает взаимному пониманию? Не грамматика ли, строгая и четкая, исправляет неточности словоупотребления? Попытались проверить. Противоречий оказалось еще больше. Тот, кто делал русскую грамматику, явно куда-то торопился.

Взять хотя бы существительные. Слово может стоять в единственном и во множественном числе. Это естественно, потому что реально нам нужна бывает одна вещь или несколько таких вещей. Но многим словам почему-то не досталось одного числа — единственного или множественного. Например, слово *ножницы* не имеет единственного числа, хотя в реальной действительности это может быть одна штука, а может быть и много. И смотрите, какая путаница из-за этого получается. Вам говорят: *Для ребят купили ножницы,* а вы не знаете, идет речь об одной штуке или о многих. Или: *Красивые у Петрова часы* — и опять неясно сколько. Еще хуже, когда указывают на число часов, когда используют для счета слово *пара*. Вот строчки из писем языковедам:



«В одной книге я прочел: *У нее две пары часов, и обе не ходят* — а речь шла не о четырех, а о двух штуках. Мой друг говорит: *Сменил пять пар часов*, а

имеет в виду только пять штук. И так говорят многие. Кто ввел эту глупую *пару*? В словаре я нашел *пара весел, пара сапог* — это правильно, речь идет о парных предметах, о двух штуках. Но как попали в этот разряд часы?.. Почему существует такое определение — *пара брюк*? Мои товарищи объясняют это тем, что брюки имеют две штанины. Я считаю такое объяснение неправильным, ведь пиджак имеет два рукава, но говорят не «пара пиджаков», а *один пиджак*. ...Отдельные граждане продолжают упорно произносить *на пару слов, на пару минут* и даже *пара пустяков*. Почему бездействует наша лингвистическая общественность?»

Вопросов много, и не сразу сообразишь, что отвечать. Очень сильно влияние разговорной речи, в которой много такого, чего не терпит строго нормированный, книжно-письменный язык. Впрочем, ответить на последний вопрос можно словами писателя К. Федина: «В практике борьбы за культуру речи необходим не только хороший слух, но и основательные знания. Выражения «пара минут», «пара слов» и т. д. обвинялись в иммиграции к нам с Запада, с потоком беженцев в империалистическую войну. Но вот изысканный знаток языка — Н. Лесков — написал «Пару строк вместо эпилога» к роману «Обойденные», а в письме к Микулич говорит о «паре дней». Очевидно, было бы пуризмом[1] настаивать на изгнании из языкового обихода этой малопривлекательной «пары»...»

Но вернемся к грамматике. У некоторых существительных множественное число какое-то странное. Например, *масла́* — это просто разные сорта масла независимо от того, много его или мало. Совершенно непонятно, зачем слову *песок* нужно множественное число — *пески*. *Пески* — не значит 'много песка'. Нельзя сказать: «Машины понавезли сюда кирпичей, пески». И в то же время *пески* — это не разные сорта песка. Нельзя сказать: «На стройку привезли пески красного и желтого цвета». В каком-то смысле *пески* — это то же самое, что *песок*. Иногда все равно, как сказать — *пески* или *песок*, например: *Их взору открылась пустыня. Песок до самого горизонта (Пески до самого горизонта)*. Странно, разве все равно: *В комнате стоял стол* или *В комнате стояли столы?* А у слова *человек* не употребляется множественное число «человеки», а вместо него используется слово *люди*, которое не имеет единственного числа.

[1] *Пуризм* — неоправданное языковое запретительство.

Замечательный наш художник Н. В. Кузьмин написал воспоминания о детстве. Если вам еще не попадалась эта книга — «Круг царя Соломона», непременно прочитайте. Здесь же меня интересует один эпизод: в портновской мастерской появился новый работник — добрый Яков Матвеевич. Он плохо говорил по-русски. Как-то в праздник мастера играли в лото.

«Выиграл Яков Матвеевич. Он подвинул к себе выигрыш и стал считать орехи.

— Ого! Теперь у меня сорок семь орешки.

— Не орешки, а орешков, Яков Матвеич. По-русски надо: сорок семь орешков. О каких умственных вещах понятие имеешь, а этого никак не поймешь!

— Орешки, орешков... Один орешков, два орешков...

— Да все не так! Вот слушай да вникай: один орешек, два орешка, три орешка, четыре орешка, пять орешков... Гляди-ка ты! — четыре орешка, а пять орешков! Вон оно как: один орешек, два орешка, а пять, стало быть, надо сказать: орешков!

Тимоша, по-видимому, и сам удивлен причудами русского языка».

Если взять род существительных, то здесь положение еще хуже. Прихóдите вы в школу, идете в кабинет директора, а там за столом — женщина. И хотя есть слова *директорша, директриса,* вы называете эту женщину словом мужского рода — *директор,* потому что те слова обидные.

Не думайте, что такие грамматические противоречия встречаются только среди существительных. Возьмите любую часть речи и обнаружите там то же самое. Скажем, глагол. Кажется нелепым вопрос: какого рода глагол *копает?* Никакого. Мы говорим: *он копает* и *она копает.* Зачем глаголу категория рода? Но образуйте прошедшее время: *копал* — мужского рода, а *копала* — женского. Почему глаголы прошедшего времени изменяются по родам, а глаголы настоящего времени не изменяются?

А почему так часто ошибаются при образовании степеней сравнения прилагательных — сравнительной и превосходной?

Например, говорят: «Вчера отец был более добрее», «Команда показала более лучшую игру», «Твой друг бежал несколько побыстрее», «Музыкант он самый талантливейший» и т. д. Дело в том, что степеней сравнения в грамматике только две, а способов выразить ка-

чество в большей или меньшей степени в нашем языке множество. Так, разные оттенки смысла прилагательного *тяжелый* передают слова: *нетяжелый, не очень тяжелый, тяжеловатый, тяжеленький, тяжеленек, тяжелешенек, тяжелехонек, тяжелее, потяжелее, более тяжелый, тяжеленный, тяжелейший, тяжелющий, самый тяжелый, тяжелее всего, наиболее тяжелый, претяжелый, тяжелый-претяжелый, наитяжелейший, архи (ультра) тяжелый* и др.

Кажется, глупо спрашивать: какого рода числительное *пять?* Или числительные *двадцать, триста, шестьсот?* А вот числительные *один, миллион* — мужского рода, а *две, тысяча* — женского. Кстати, *тысяча* может быть в единственном и во множественном числе, а другие числительные, например *пятнадцать,* какого числа — единственного или множественного? Как-то даже странно говорить о числе числительного. Сколько нелогичного! Или это только чьи-то ошибки?

УЗАКОНЕННЫЕ ОШИБКИ

Людям свойственно ошибаться. Известен и ряд языковых ошибок, основанных на непонимании иностранных слов. Так, европейцы, осваивая новые земли, не всегда находили «общий язык» с местными жителями. Из-за недоразумения возникли слова: *орангутанг* — буквально ‘лесной человек’ (так туземцы называли жителей внутренних лесов острова Борнео, ныне Калимантан, а европейцы решили, что речь идет о крупных человекообразных обезьянах); *кенгуру* (увидев впервые этих животных, европейцы спросили у местных жителей, как те называются, и услышали в ответ — *кенгуру,* т. е. ‘мы не понимаем, не знаем’); *Канада* — ‘хижины’ (речь шла о небольшом селении индейцев, оказавшемся поблизости, позже этим словом назвали огромную страну).

Зонтик — так зазвучало по-русски голландское слово zondek — буквально ‘покрышка от солнца’. Позже *ик* стало восприниматься как уменьшительный суффикс и появилось слово *зонт,* которое можно считать собственно русским (его нет ни в одном другом языке). Но не только непонимание иностранных слов порождало ошибки.

В древности ошибки часто допускались переписчика-

ми манускриптов, труд которых был нелегким: им приходилось переписывать до 60—80 страниц в день.

Не спасло от ляпсусов и развитие в мире книгопечатания.

Некоторые из ошибок, которые делали переписчики и наборщики, были позже узаконены. Самый известный случай — слово *зенит*. У арабов было semt, так оно сначала и записывалось в Европе, но когда-то или буква m была нечетко написана, то ли над последней палочкой третьей буквы случайно появилось небольшое пятнышко, буква m стала восприниматься как две: n и i, а все слово в таком виде вошло в европейские языки. Это ли не парадокс?

Менее известны другие случаи. Устойчивые ветры тропиков, периодически меняющие свое направление, т. е. дующие летом с океана, а зимой с суши, называются муссонами (восходит к арабскому mausin — 'сезон'). Близко к русскому звучание этого слова в румынском языке (muson) или, скажем, во французском (mousson). Но в других языках в середине видим n: английское monsoon; испанское monzon; итальянское monsone; немецкое Monsun; чешское monsun; шведское monsun и т. д. Легко догадаться, в чем дело. Да, случайная ошибка: n — это перевернутое u.

Иногда ошибка порождала мифы и легенды. Так, осознав различия языков, люди попытались дать им объяснение. Некогда у всех людей был единый язык и жили они богато и счастливо, но возгордились и решили построить башню «до неба». Богу это не понравилось, и, не найдя другого средства, он взял и смешал языки строителей: каждый заговорил на своем языке, люди перестали понимать друг друга, строительство башни, естественно, не могло продолжаться. Среди людей возникло смятение, и они рассеялись по миру, а то место назвали Вавилон. Почему же именно Вавилон стал символом языкового хаоса?

Французский ученый А. Бернель объясняет, что *Вавилон* (из-за звукового сходства) связывали со словом *балал* — 'смешивать', в действительности же название *Вавилон* происходит от аккадского *Баб-илу,* что в переводе на русский означает 'Врата Бога'. Это название было передано по наследству от древнего города Кадингир (тоже 'Врата Бога'), на месте которого возник Вавилон. Таким образом, миф о вавилонском столпотворении (или

смешении языков) в значительной степени обязан языковой ошибке.

Можно указать еще на одну, которая увековечена не только в слове, но и в мраморе. «Моисей» — одно из самых прославленных созданий Микеланджело. В нем скульптор воплотил мечту о мудром и решительном человеке, волевом и страстном. Неподвижная фигура полна внутреннего напряжения, динамизма. Пророк справедлив, но страшен в своем гневе. Народ, которого он спас; которому он нес законы новой жизни, отступился от него, променял правду на деньги. Значительно увеличивают впечатление от образа рассерженного пророка маленькие рожки надо лбом. Откуда у пророка рога? Это многих удивляет.

Во всем виноват латинский перевод. Латинское cor (o) natus — ‘сияющий, окруженный сиянием, лучами’; coronatum — ‘венчать, украшать венком’ было подменено другим: cornutus — ‘рогатый’; cornus — ‘рог’. А Микеланджело воссоздал эту ошибочно возникшую деталь в облике Моисея.

Известное изречение *Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в царство небесное* поражает своей странностью. Сравнение, однако, будет ясно, если вспомнить, что у греков наряду со словом kámelos — ‘верблюд’ имелось kàmilos — ‘канат, толстая веревка’. Вероятность подмены тем больше, что долгое *e* произносилось как *i*, kàmelos звучало как kámilos. Правильнее было бы: *Легче канат протянуть через игольное ушко...*

Своего рода ошибками можно считать многие фразеологические обороты, возникшие в результате усечений, искажений ранее вполне понятных выражений, например: «Голод — не тетка» из «Голод не тетка, пирожка не поднесет». По поводу непонятного «собаку съел» академик Н. М. Шанский писал: «Скорее всего, это выражение является одной из многих идиом, родившихся в результате сокращения полной формы... И истоком его является поговорка, зафиксированная В. И. Далем, — *Собаку съел, а хвостом подавился.* Эта поговорка употребляется по отношению к человеку, который сделал что-то очень и очень трудное и споткнулся на пустяке...

Современное же значение («мастер на что-либо») возникло уже у сокращенной формы *собаку съел*: тот, кто сделал или может сделать что-либо очень и очень

трудное, является, вне всякого сомнения, мастером своего дела.

В жизни слов, как и в нашей жизни, немало случайностей.

О БОГАТСТВЕ И ГИБКОСТИ ЯЗЫКА

Все-таки ошибками, случайностями мало что можно объяснить. Нелогичного же, странного, противоречивого в языке много. И чем дольше размышляешь, тем тверже убеждение, что эта нелогичность имеет смысл.

В самом деле, возьмем обычное, ничем не примечательное слово *глухой*. Что оно означает? Так говорят о человеке, полностью или частично лишенном слуха. Например: *Старик ничего не слышал: он был глух*. Но то же слово можно употребить и в другом смысле: *глухой голос,* т. е. 'незвонкий'. Мы говорим: *глухая тайга,* т. е. 'дикая, сплошь заросшая'; *глухая деревня,* т. е. 'находящаяся вдали от населенных мест, от промышленных центров'; *глухая стена,* т. е. 'сплошная, без проломов, проходов, без всяких отверстий; *глухая полночь,* т. е. 'время суток, когда все замирает, затихает'. Кроме того, можно сказать *глух к добру, глухое недовольство, глухой согласный* и др.

Если вы полистаете толковый словарь русского языка, то увидите, что большинство слов имеет несколько значений, например: глагол *идти* — двадцать пять, слово *рука* — восемь, *бить* — одиннадцать и т. д.

Было бы лучше, если бы каждое слово имело только один, строго определенный смысл? Тогда вместо одного слова *идти* пришлось бы запоминать двадцать пять слов, а со временем, возможно, и больше, вместо слова *глухой* — пятнадцать-двадцать слов. Но главное — язык лишился бы своей гибкости. Язык утратил бы свою образность (возьмите хотя бы выражение *глухая полночь*), свои яркие краски, свою душу. Жизнь сложна, противоречива, изменчива. Смог ли бы отразить ее жестко регламентированный язык?

Думается, что на это способен только естественный язык, «живой как жизнь».

Синонимию форм легко увидеть и в грамматике. Скажем, форма настоящего времени обозначает совершающееся действие, т. е. такое, которое происходит сейчас,

в данный момент. Если мы говорим *Луна светит из-за туч*, то это значит, что на небе тучи и сквозь них мы видим луну, видим сейчас, в момент речи, а через пять минут, может быть, луны не будет видно совсем или, напротив, тучи рассеются и она откроется вся, полностью. Но можно сказать и так: *Луна светит отраженным светом*. Что, раньше этого не было или через пять минут луна может и не отражать солнечный свет? Нет, это высказывание не имело в виду какой-то определенный момент: луна светит отраженным светом всегда. Форма та же, а значение слова иное. Наконец, можно так рассказать о прошедшем: *Шел я вчера вечером из кино. Луна светит. Снег блестит...* Форма настоящего времени потребовалась рассказчику для повествования о действиях, которые явно совершались до момента речи. Зачем же? Разве нет в русском языке форм прошедшего времени? В этом случае настоящее время придает рассказу особую живописность, наглядность. Прочитайте рассказ А. П. Чехова «Ванька»: как живо переданы воспоминания мальчика и какую огромную роль играют при этом глаголы настоящего времени! И не только настоящее, но и будущее время глаголов может живописать прошлое. Вспомните «Бежин луг» И. С. Тургенева: «Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба, и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной...»

И наоборот, прошедшее время может быть использовано для обозначения действия в будущем: *Если отряд не придет завтра, мы погибли,* т. е. 'погибнем'. Зависимость одного действия от другого выражена здесь резче, категоричнее, чем было бы, если б глагол *погибнуть* стоял в форме будущего времени.

Возможности переносного употребления мы видим и у других грамматических категорий глагола. Например, формы повелительного наклонения могут заменять условное: *Щепотки волосков лиса не пожалей — остался б хвост у ней* (И. Крылов).

Многозначность слов и синонимия форм, возможность варьирования, переносного употребления и обеспечивают гибкость языка, передают тончайшие оттенки мысли, чувства. И при этом никакой путаницы, во всем своя строгая языковая логика.

Н. В. Гоголь писал: «...сам необыкновенный язык наш есть тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно...»

И так же как в живом организме нераздельны понятия «вчера», «сегодня», «завтра», так и в языке история и современность сливаются, дополняют и объясняют друг друга.

ДРАГОЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ

КОВАРСТВО ВРЕМЕНИ

Язык все время развивается. Изменения происходят незаметно, но непрерывно.

Уж на что, кажется, прост и понятен язык времен Пушкина. Но правильно ли мы понимаем его? Понятен ли Пушкин современному читателю? Этот вопрос впервые поставил В. Брюсов в 1918 г. Он писал: «Понимаем ли мы Пушкина? Большинство ответит, что Пушкин всем понятен в отличие от декадентов и футуристов, и это будет неверно. Для «среднего» читателя в сочинениях Пушкина три элемента «непонятности». Во-первых, чтобы вполне понимать Пушкина, необходимо хорошо знать его эпоху, исторические факты, подробности биографии поэта и т. п. ...Во-вторых, необходимо знать язык Пушкина, его словоупотребление... В-третьих, необходимо знать все миросозерцание Пушкина...»

В самом деле, читая об отъезде Лариных в Москву (VII глава «Евгения Онегина»), мы мало обращаем внимания на строки:

На кляче тощей и косматой
Сидит форейтор бородатый...

Нам безразлично, были ли у форейтора усы, борода или нет. Но читателю той эпохи эти строки говорили многое. В. В. Вересаев так комментировал это описание: «Почему «бородатый»? Форейторами ездили обыкновенно совсем молодые парни, чаще даже — мальчишки. Вот почему: Ларины безвыездно сидели в деревне и далеких путешествий не предпринимали. И вот вдруг — поездка в Москву. Где уж тут обучать нового форейтора! И взяли старого, который ездил еще лет пятнадцать-двадцать назад и с тех пор успел обрасти бородой. Этим «бородатым» форейтором Пушкин отмечает домоседство семьи Лариных». Пушкин показывает, как провинциально, как

смешно выглядел обоз Лариных с горшками, тюфяками, банками варенья, подчеркивает, что и возок-то у них старый, почтенный; форейтор и тот бородатый.

Вспомним «Капитанскую дочку». Прощаясь с женой и дочерью, Иван Кузьмич говорит: *Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан.*

Что за необычная заботливость о нарядах дочери в предсмертный час? Современник Пушкина понимал, что речь шла о спасении жизни. Сарафан носили крестьянки, и комендант, зная, что Пугачев казнит дворян, советует жене одеть Машу крестьянкою.

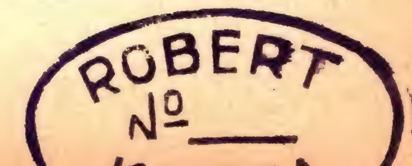
Непонимание еще более опасно в тех случаях, когда слова, которые мы встречаем у Пушкина, слова, как будто нам хорошо известные, полностью или частично изменили свой смысл и в современном языке употребляются в другом значении. Нам кажется, что все понятно, а на самом деле мы искаженно воспринимаем текст пушкинского произведения.

Так, прочитав в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях строки:

И царица налетела
На Чернавку: «Как ты смела
Обмануть меня? и в чем!..»
Та призналася во всем:
Так и так. Царица злая,
Ей рогаткой угрожая,
Положила иль не жить,
Иль царевну погубить, —

юный читатель вообразит еще, пожалуй, царицу с рогаткой, какими мальчишки стреляют по воробьям и галкам. Царица угрожала вещами гораздо более страшными — каторгой, тюрьмой. Рогаткой в старину назывался железный ошейник с длинными остриями, который надевали на шею заключенным, колодникам.





Другой пример. Сцена дуэли («Евгений Онегин», глава VI) — напряженный, драматичный момент:

> Онегин Ленского спросил:
> «Что ж, начинать?» — «Начнем, пожалуй», —
> Сказал Владимир...

Что значит это *Начнем, пожалуй?* Не хочется, но раз пришли, так надо стреляться? Или Ленский раздумал, струсил? Ничего похожего. Если перевести *пожалуй* с языка Пушкина на язык наших дней, то смысл его ближе всего к современному *пожалуйста,* а точнее, *изволь.* Ленский идет на дуэль так же смело, как и Онегин. И Ленский отвечает Онегину не с дрожью в голосе, а твердо и уверенно: *Начнем, изволь.*

Когда в произведениях А. С. Пушкина встречаются неизвестные и неупотребительные сейчас слова (вроде *сикурс, пироскаф*), можно узнать их значение, обратившись к «Словарю языка Пушкина» или словарю современного русского литературного языка. Труднее, когда встречается слово как будто понятное, хорошо всем известное, но изменившее свое значение. В этом случае мы можем неправильно понять текст.

Слово *возмутительный* — 'вызывающий чувство гнева, неудовольствия' всем известно. Откроем «Капитанскую дочку». В VI главе рассказывается, как к крепости приближается Пугачев с войском. *Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами.* Листами, вызвавшими недовольство коменданта, рассердившими его? Нет, с листовками, побуждавшими гарнизон к возмущению, подстрекавшими к мятежу, бунту, восстанию, — таково было значение слова *возмутительный* в пушкинские времена. Белогорская крепость пала. Пугачев принимает присягу гарнизона. Но комендант отказывается признать Пугачева государем: *Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!* Почему Иван Кузьмич называет Пугачева вором? Словом *вор* называли тогда вообще всякого злоумышленника, преступника. А Пугачев в глазах дворян был преступником. Гринев далее вспоминает: *Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей.* Великодушных? Добрых, снисходительных, сердечных? Нет, не об этом говорит Гринев, не эти качества отмечает

он у своих товарищей в трагическую минуту. *Великодушных* — т. е. 'обладающих величием души', мужественных, стойких, смелых, сильных духом. Но Гринев остался жив. Вожатый (а это слово значило 'проводник' — от *водить*) узнал его: *...я помиловал тебя за твою добродетель...* Слово *добродетель* в современном языке значит 'положительное нравственное качество, высокая нравственность'. Но Пугачев помиловал Гринева за его добродетель в том смысле, какой это слово имело в пушкинскую эпоху, т. е. за 'доброе дело', за благодеяние, которое совершил Гринев, подарив безвестному бродяге заячий тулуп. Так об этом и сказано: *...я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов.* Тогда же Пугачев спросил: *Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.* Гринев смутился: *Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою.* Но Пушкин употребил слово *самодовольство* не для того, чтобы читатель плохо думал о его герое. *Самодовольство* здесь означает 'чувство самоудовлетворения', сознание того, что поступил в трудную минуту так, как следовало.

Приведенные примеры наглядно представляют то, о чем мы вообще-то знаем, но чего не ощущаем, что нас как будто бы не касается, — изменение языка. В 40-е годы выдающийся лингвист академик Л. В. Щерба писал в статье «Литературный язык и пути его развития»: «Из того, что в основе всякого литературного языка лежит богатство всей еще читаемой литературы, вовсе не следует, что литературный язык не меняется. Пушкин для нас еще, конечно, вполне жив: почти ничто в его языке нас не шокирует. И однако было бы смешно думать, что сейчас можно писать в смысле языка вполне по-пушкински.

В самом деле, разве можно сегодня написать *Все мои братья и сестры умерли во младенчестве* («Капитанская дочка»)? Это вполне понятно, но так никто не пишет и не говорит».

И сколько уже было недоразумений из-за того, что критики не учитывали этих изменений. Один из них, найдя у Пушкина «голос яркий соловья», восклицал: «Какой яркий образ! Какая метафора! Поэты так стали

писать только сто лет спустя!» Тогда как в начале прошлого века *яркий* значило 'громкий' (о голосе). Во всяком случае, тогдашние словари указывают такое значение как основное, главное. Строки из оды «Вольность»: «Восстаньте, падшие рабы!» расценили как прямой призыв к восстанию. А строки «Законов гибельный позор» критики никак не могли понять. Пушкин имел в виду: зрелище гибели законов. Он воспевал закон, думал, что закон (т. е. если все будут следовать хорошим законам) принесет счастье. Беззаконие — гибель.

Художник Н. В. Кузьмин, вспоминая о том, как он иллюстрировал юбилейное издание «Евгения Онегина» (1937) — эта работа прославила его на весь мир, — рассказал о таком эпизоде:

«Редактором издания был Цявловский. Все рисунки мы обсуждали с ним совместно. Обнаружилось, что в тексте есть места, требующие комментария, особенно в том случае, если рисунок дает повод толковать это место превратно. Так, меня тронула строфа Пушкина, обращенная к будущему другу-читателю:

Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!

Я нарисовал юношу и девушку, благоговейно взирающих на портрет Пушкина, и засомневался: а ну как не все поймут, что поэт совсем не обвиняет будущего читателя в невежестве. Каждый, вдумчиво прочитавший эту строфу и следующую, должен понять, что *невежда* не может иметь в этом контексте современного, уничижительного значения. Цявловский также подтвердил мне, что «невежда» в пушкинские времена означало 'наивный, зеленый, не искушенный жизнью юнец'. Тем более что ранее Пушкин говорит и о Ленском: *он сердцем милый был невежда.* Мы порешили, что читатель разберется.

Увы, мы рассчитали плохо. Во втором номере журнала «Искусство» за 1937 год появились укоризненные строки о клевете на нашу славную молодежь, которая изображается художником в виде невежд. Критик не оправдал наших упований на умного читателя».

Язык Толстого, Чехова нам, конечно, ближе, но тоже имеет свои отличия. Новые слова, новые значения появляются все время. Это свидетельство жизни языка. И чем дальше в историю, тем заметнее, тем значительнее и тем интереснее эти изменения.

СУДЬБЫ СЛОВ

Изображая жизнь Лариных во второй главе «Евгения Онегина», Пушкин пишет:

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины:
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод;
В день Троицын, когда народ
Зевая слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три...

Как будто опять какая-то странность? Кто не наблюдал яркие краски неба перед восходом или после захода солнца? Но это ли умиляло Лариных? Краски неба здесь ни при чем. *Пучок зари* — это пучок травы. В примечаниях к «Евгению Онегину» вы найдете: «*Заря* или *зоря* — полевая трава из семейства зонтичных». Ну, теперь, кажется, все ясно? Но почему эта трава так умиляла Лариных, что *они роняли слезки три*. И как будто насмешка поэта — не рыдали, не плакали, а роняли слезки в количестве трех штук. В чем здесь дело?

Недоумение объяснил замечательный знаток культуры, быта, языков славянских народов Н. И. Толстой. Он указал на нечто похожее в стихах С. Есенина:

Троицыно утро, утренний канон,
В роще по березкам белый перезвон.
Тянется деревня с праздничного сна,
В благовесте ветра хмельная весна.
На резных окошках ленты и кусты.
Я пойду к обедне плакать на цветы...

Снова «Троицын день», понятное украшение зеленью и лентами окон — и странное «плакать на цветы». Может

быть, эти стихи — иносказание? «Однако они не иносказательны, — возражает Н. И. Толстой, — а точно описывают старинный славянский обряд, обряд еще дохристианский, связанный с магией вызывания дождя и плодородия».

Оказывается, как отмечает Н. И. Толстой, известен обычай идти на троицу с пучком травы, которая должна быть оплакана. Это считалось залогом того, что летом не будет засухи. Слезы означают дождь.

Вода давала жизнь. Но жизнь невозможна и без огня, без света и тепла. «Вода» и «огонь» — важнейшие понятия в сознании древнего человека. Они породили множество мифов, сказок, легенд. Они же породили и множество слов. Выдающийся языковед А. А. Потебня записал однажды: «Если бы мы не знали, что божества огня и света занимали важное место в языческих верованиях славян, то могли бы убедиться в этом из обилия слов, имеющих в основании представления огня и света».

Связано с огнем слово *горе,* то, что горит в душе человека. Постоянный эпитет этого слова — *горький:* «горе горькое». Слезы *горькие,* но можно сказать и слезы *горючие;* те слезы, которые жгут. *Горький* в старину значило 'огненный'. Нечего и говорить, что тот же корень и в словах *гореть, греть, горн, гончар* и др. Синоним слова *горе* — существительное *печаль* — тоже связано с огнем: то, что печет. *Печаль* от *печь.* А. А. Потебня добавлял: «Гнев есть огонь; и от него сердце разгорается «пуще огня» или, что на то же выходит, «без огня»... Вообще в словах для гнева и сродных с ним понятий господствует представление огня». Легко понять огнепоклонников, вспомните, как приятно сидеть у костра, смотреть на пламя. Многие любят бегать вокруг огня, прыгать через него — так же поступали наши далекие предки: это было непременной составной частью многих языческих обрядов.

В мифологии славян важное место занимал Ярило — бог весны, солнца, плодородия. Весенние праздники в честь Ярилы, сопровождавшиеся плясками, хороводами, устраивались в некоторых районах России еще в начале нашего столетия. Отсюда и многие слова у нас с корнем *яр: яровой* (весенний, посеянный весной), *ярка* (молодая овца), *ярые пчелы* (молодой, сегодняшний рой). Что значит *весенний?* Это — *солнечный, сияющий, ясный.* Это также — *теплый, горячий,* затем развивается смысл:

горячий, возбужденный, гневный. Отсюда у нас слова: *яркий, ярый, ярость.*

Герой А. Франса из «Книги моего друга» говорит: «Все первобытные языки были очень образны и одушевляли всякий предмет, который называли. Они наделяли человеческими чувствами небесные светила, облака — «небесных коров», свет, ветры, зарю. Из этой образной, живой, одушевленной речи родился миф, а сказка вышла из мифа».

О тесной связи языка и мифа писал М. Горький:

«Что образование и построение языка — процесс коллективный, это неопровержимо установлено и лингвистикой и историей культуры. Только гигантской силой коллектива возможно объяснить непревзойденную и по сей день глубокую красоту мифа и эпоса, основанную на совершенной гармонии идеи с формой. Гармония эта, в свою очередь, вызвана к жизни целостностью коллективного мышления, в процессе коего внешняя форма была существенной частью эпической мысли, слово всегда являлось символом, т. е. речение возбуждало в фантазии народа ряд живых образов и представлений, в которые он облекал свои понятия. Примером первобытного сочетания впечатлений является крылатый образ ветра: невидимое движение воздуха олицетворено видимою быстротой полета птицы; далее легко было сказать: «Реют стрелы яко птицы». Ветер у славян — стри, бог ветра Стрибог, от этого корня стрела, стрежень (главное и наиболее быстрое течение реки) и все слова, означающие движение: встреча, струг, сринуть, рыскать и т. д.».

Знание обычаев, нравов древних народов, знание их мифологии, их представлений о мире помогает понять первоначальный смысл многих слов. Но справедливо и обратное: анализ слов помогает понять и образ жизни, и взгляды наших далеких предков. Что такое счастье? Какого человека мы называем счастливым? На этот вопрос можно ответить по-разному.

В новелле А. Франса «Рубашка» есть такой эпизод: самого ученого человека государства, директора Королевской библиотеки, спрашивают о том, что такое счастье. Он отвечает: «всякое слово должно определяться этимологически по его корню: вы меня спрашиваете, что мы разумеем под словом «счастье»? «Счастье» — bonheur или «благополучие» — это благое предзнаменование, благое знамение, уловленное по полету и пению птиц...»

Наши предки вкладывали в это слово иной смысл. Об этом свидетельствует корень слова: *часть. Счастливый* — имеющий часть, часть богатства, наследства, получивший долю. Заметим, что и слово *доля* имеет значение не только «часть», но и «судьба, участь». Да и состав последнего слова также прозрачен: *у-часть.* Вспомним и другое слово: *удел.* Иногда приходится идти очень далеко в историю, к индоевропейцам. Именно из индоевропейского вышли позже языковые семьи: языки славянские (русский, польский, чешский и др.), германские (английский, немецкий, скандинавские и др.), романские (французский, испанский, итальянский и др.), иранские, такие языки, как хинди, урду, бенгали и др.

Например, обратим внимание на такую странность нашего языка: мясо свиньи называется *свинина,* мясо барана — *баранина,* а мясо коровы — *говядина,* а не «коровина». В глубокой древности было слово *говядо* для скота. У индоевропейцев был, судя по всему, крупный рогатый скот. Крупный рогатый скот — это прежде всего коровы, это молочное хозяйство.

Известный языковед О. Н. Трубачев обратил внимание на такую странность: было только родовое название, общее для коровы и быка. Особого названия для коровы не существовало.

«Важность этого свидетельства языка трудно переоценить, — пишет О. Н. Трубачев. — Сначала кажется малоправдоподобным, чтобы индоевропейцы, разводя коров, не употребляли в пищу молока. Тем не менее в действительности так и было, и это, по-видимому, совершенно закономерная стадия в исторической эволюции животноводства, продолжавшаяся у разных народов разное время».

Ученый приводит многочисленные аналогичные примеры. Так, многие народы Восточной Азии и Африки не пьют молока. В Египте молоко лишь приносилось в жертву богам. Греки гомеровской эпохи тоже не пили коровьего молока.

Показательно, что нет и общего индоевропейского названия молока. Добавим, что первоначальный смысл слова *корова* — 'рогатая'. В других языках тот же корень послужил для слов, обозначающих оленя. Изучая особенности слова *корова,* лингвисты обнаружили связь этого слова со словом *коровай* (в нынешнем написании — *каравай*). Это тот самый «коровай», который ис-

пекли на чьи-то именины. И тот самый, который является важнейшим элементом многих образов. Но какая связь может быть у коровы с караваем? Оказалось, непосредственная, ритуальная. Как выяснено, раньше коров выращивали не для молока, а для жертвоприношений. Позже, когда корову оценили по-настоящему, стали реальное животное заменять символом: выпекали из теста изображение, фигурку коровы. Позже жертвенный пирог украшали частью животного, например, рогами (так называемый «рогатый каравай»). Такая жертва должна была принести плодородие, благополучие, счастье. «Я и рогат, я и богат» — говорил каравай. «Каравай, каравай, кого хочешь выбирай...»

Занимаясь решением чисто языковой задачи, мы неожиданно приходим к миропониманию наших предков. Впрочем, так ли это неожиданно? Ведь язык тесно связан с мышлением, связан с судьбой, историей народа. Сопоставляя, сравнивая слова, мы можем проникнуть в глубь веков. Так, присматриваясь к слову *чернила,* мы видим в нем корень *черн-,* о котором почти забыли, говоря *красные, синие, зеленые чернила.* Глядя на оставшиеся еще в языке выражения *красна девица, красный угол* (в избе), мы догадываемся, что для наших предков *красный* — это 'красивый'.

В слове *работа* мы уже не слышим слова *раб.* А ведь когда-то рабочий и был фактически рабом. В деревне долгое время были *работники* (вспомним «Хозяин и работник» Л. Н. Толстого). Слово *рабочий,* появившись в середине прошлого века, стало вытеснять *работника, работного.* Слово *работник* удержалось в языке, потому что изменило свое значение. О людях умственного труда мы говорим: *научный работник, литературный работник.*

В русском языке есть *товарищ* и *товар,* как будто не связанные одно с другим. А как же было на самом деле?.. Бродили по Руси торговцы, покупали, продавали, носили и возили с собой разный товар. Но одному в путь отправляться было опасно, вот и выбирали себе товарища, который помогал товар сбывать. Потом слово *товарищ* получило значение 'друг, приятель' вообще, а не только в торговле, в путешествии. После Великой Октябрьской революции началась новая жизнь слова *товарищ.*

Слово *мужество* прямо соотносится со словом *муж* — 'человек, муж'. От него образовалось с помощью суф-

фикса *-ик* слово *мужик* — в первичном значении 'маленький муж, мальчик'. Этим словом тогда же стали обозначать и мужчин «низшего сословия», в частности жителей деревни, крестьян.

Если выражение *проявить мужество* имеет значение 'вести себя подобно мужчине, как подобает мужчине', то слово *робеть* связывается с поведением ребенка. Оно образовано от слова *робя* — 'ребенок' (звук [о] изменился в [е] в результате уподобления второму [е]). Собственно, наше *ребенок* (из *робенок*) является закономерным образованием от *робя*.

Странно, когда у некоторых животных, живущих на суше, обнаруживают жабры. Ученые объясняют: когда-то эти животные жили в воде. Странно, когда в пустыне, далеко от моря, находят ракушки морских моллюсков. По этим приметам определяют: раньше здесь было море. Странность оказывается остатком прежней закономерности. Так же и в языке. То, что нас сейчас удивляет, когда-то было естественно.

Могут ли быть мужественные женщины? Конечно. Хотя прилагательное *мужественный* и произошло от слова *муж* — 'мужчина', сейчас связь этих слов не ощущается. Перочинным ножом уже не чинят перья. Всем известны уменьшительно-ласкательные суффиксы *-ик* и *-ок*: *дом — домик — домок; час — часик — часок. Петушок* — это 'маленький петух', *сапожок* — это 'маленький сапог'. Но вот другие примеры: *пузырек* — разве это 'маленький пузырь'? Сырок отличается от сыра. Никто сейчас не воспринимает как уменьшительные слова *нитка, частица, платок, мешок* (когда-то образовано от *мех*), *булавка, молоток, скамейка, корка* и десятки других. Про человека, который снял пояс, мы не скажем: *Он распоясался.*

Один из героев А. Франса задумывается над такими истинами: «Языки подобны дремучим лесам, где слова выросли, как хотели, или как умели, встречаются странные слова, даже слова-уроды. В связной речи они звучат прекрасно, и было бы варварством подрезать их, как липы в городском саду... Такие слова, — несомненно, уроды. Мы говорим: «сегодняшний день», то есть «сегодня-шний день», между тем ясно, что это нагромождение одного и того же понятия; мы говорим: «завтра утром», а это то же, что «за-утра утром», и тому подобное. Язык исходит из недр народа. В нем много безграмотностей,

ошибок, фантазии, и его высшие красоты наивны. Создавали его не ученые, а люди, близкие к природе. До нас он дошел из глубины веков... Будем пользоваться им как драгоценным наследием. И не будем слишком придирчивы...»

Сравнение, сопоставление слов может выйти за пределы одного языка, и тогда открывается много общего и различного в миропонимании у разных народов. Слово, человеческая речь всегда казались людям явлением непостижимым, таинственным. Слову придавался особый, мистический смысл. Наиболее загадочными считались совпадения в звучании и значении слов, принадлежащих разным языкам. Для языковедов же подобные совпадения представляются обычными и в некоторых случаях даже закономерными. Они установили родство целого ряда «далеких» языков, распределив их по группам. И мистический налет снят даже с самых мистических слов.

Анализ этих слов помогает дать реальное, атеистическое объяснение религиозным понятиям.

Например, что значит слово *бог?* «По религиозно-мистическим представлениям: верховное существо, управляющее миром...» — отвечает словарь. Но всегда ли так было? И какой смысл вкладывали первоначально в это понятие? На эти вопросы можно ответить, сравнив несколько родственных языков. Предков и родственников слова *бог* мы легко находим прежде всего в славянских языках, что свидетельствует о глубокой древности слова.

Обратившись к другим индоевропейским языкам, мы обнаруживаем, что славянское *бог* родственно древнеиндийскому bhagaḥ, которое обозначало 'богатство, счастье' и того, кто его дает, — 'податель, господин, владыка'. Древнеперсидское baga — 'господь, бог' восходит к древнеиндийскому bhájati — 'наделяет, дает'.

Таким образом, ученые приходят к выводу, что первоначальный смысл слова *бог* — 'податель благ, наделяющий благом'. Значение же 'верховное мифическое существо' вторично, развилось в славянских языках позднее. Теперь уже не покажется случайным созвучие слов *бог* и *богатство, богатый* и *убогий,* в котором приставка *у-* имеет отрицательное значение. Отсюда становится понятным и смысл имени древнерусского Дажбога (или Дажьбога). Известный писатель XVIII в. М. Чулков в

«Словаре русских суеверий» пояснял: «Дажбог — славянский, киевский бог, почитали его богом — подателем благ, а также еще богом богатства». *Дажь* — повелительная форма глагола *дати*.

Является ли такое представление о боге всеобщим или другие народы вкладывали в слово *бог* иной смысл? Лингвистический анализ слова может осветить даже такие факты, о которых молчат документы или вещи. Латынь обозначала бога словом deus. Соответствия ему лингвисты открыли в санскрите и других древних языках. Все эти слова, по-видимому, восходят к древней форме deiwos. Но что могла она значить? Чтобы понять смысл этой формы, называвшей божество вообще, надо знать, что со словами, обозначавшими бога, божество, группировались (оказывались близкими, родственными) слова, обозначавшие небо и день. В латинском наряду с deus — 'бог' видим dies — 'день'. Наряду с литовским dièvas — 'бог' находим в финском языке taivas со значением 'небо'.

Эти и другие формы позволяют заключить, что индоевропейский бог — 'нечто светящееся', существо 'светлое, небесное'. Санскритское слово, используемое в Древней Индии для обозначения света, светящегося, неба, дня, стало называть главного бога греков (Зевс) и римлян, которые, для того чтобы избежать односложности греческого слова, добавили к названию бога слово pater — 'отец' — Juppiter (Юпитер) — 'отец-небо'. Слово pater указывало на высокий сан, его употребляли, когда почтительно говорили о людях, о богах. Каждый народ выдумывал себе бога в соответствии со своими представлениями о мире.

Мир устроен так, что все в нем связано, все соотнесено. Так же и в языке, который отражает действительность. Внимательно приглядываясь к словам, вы можете открыть для себя много интересного.

ТВОРЦЫ НОВЫХ СЛОВ

Сопоставляя слова, можно понять, как в прошлом происходило образование новых слов и вообще развитие языка. Впрочем, основные закономерности действуют и сейчас. Новые слова появляются непрерывно. Появилась новая вещь — ее нужно как-то обозначить, на-

звать. Новая вещь часто приходит вместе со своим именем, иногда это название видоизменяется, приспосабливается, иногда возникает новое обозначение.

Показательна в этом отношении судьба воспетого в песнях картофеля. Хотя картофель используется индейцами Южной Америки уже более 14 тысяч лет, признание во всем мире он получил сравнительно недавно. В Европу (Испанию) картофель впервые завезен в середине XVI в. В 1616 г. *картофель* (он еще не стал *картошкой*) как редкость подавали во Франции к королевскому столу. Выращивали его в ботанических садах, на специальных плантациях. Но народ, не доверяя новому продукту, предпочитал по-прежнему зерно и корнеплоды. Прусский король Фридрих II посылал драгунов наблюдать за тем, чтобы крестьяне действительно сажали картофель. В России это новшество связано с именем Петра I. Один историк сообщал: «Великий Петр выслал из Роттердама (Голландия) мешок картошки к Шереметеву и приказал разослать картофелины по разным областям России...»

Тартуфель — первое название картошки — подавали у нас на придворных банкетах уже в 1741 г. Но сколько? На банкет 23 июля 1741 г. отпущено тартуфлю... полфунта, т. е. примерно двести граммов. Картофель понравился. При Екатерине решили помочь «без большого иждивения» голодавшим крестьянам. Была создана специальная комиссия, которая рапортовала сенату в 1765 г., что лучший способ к прекращению бедствия «состоит в тех земляных яблоках, кои в Англии называются потетес, а в иных местах земляными грушами, тартуфелями и картуфелями». Тогда же повелением императрицы были разосланы семена и «Наставление о разведении земляных яблок, потетес именуемых...» В наставлении говорилось: «Ко толь великой пользе сих яблок, и что они при разводе весьма мало труда требуют, а оный непомерно награждают, и не токмо людям к приятной и здоровой пище, но и к корму всякой домашней животине служат, должно их почесть за лучший в домостройстве овощ, и к разводу его приложить всемерное старание, особливо для того, что... оному большого неурожая не бывает, и тем в недостатке и дороговизне прочаго хлеба великую замену делать может».

Предписывалось доставлять картофель в бочонках, увязанных рогожами, обкладывать сеном. По прибытии на место «бочки с яблоками перенесть как наискоре в

холодные сухие покои, и, развязав и раскупорив, яблоки высыпать в кади, потом приуготовить сухого песку, хотя с черноземом смешанного, и обсыпав тем иные яблоки, содержать до весны».

Добавим, что вплоть до середины прошлого века картофель приходилось не столько сажать, сколько насаждать, вводить силой, преодолевая недоверие, предрассудки и даже открытое сопротивление.

Таким образом, выясняется, что картофель имел несколько названий. Индейцы называли его — *потата*, англичане переделали на свой лад — *потэйто*, французы до сих пор называют его «земляными яблоками». Итальянцы назвали его «земляным грибом» — *тартуфоло;* немцы это название переделали по-своему: *картофель*. Последнее название и закрепилось у нас, хотя, как мы видели, бытовали и другие.

Творец языка — народ. Народ создает и узаконивает слова. Но ведь сначала кто-то один создает слово. Сначала оно кажется странным, потом к нему привыкают, и оно входит во всеобщее употребление. Когда слова «оседают» прочно, их создателей, как правило, забывают, но иногда они сами напоминают о своем «авторском праве».

Например, Н. М. Карамзин, впервые употребивший слово *промышленность* (*Везде знаки трудолюбия, промышленности, изобилия*), отнес примечание к новому слову: «Это слово сделалось ныне обыкновенным; автор употребил его первый». Позже ученые выяснили, что Н. М. Карамзин является создателем большого количества слов, вошедших в наш язык: *достопримечательность, утонченность, подозрительность, первоклассный, человечный* и др.

Ясно, что до появления в России железных дорог у нас не было и слова *паровоз*. Более того, когда локомотивы появились, их называли словом *пароход* (оно было общим обозначением средств и водного и сухопутного парового транспорта). Но в 1836 г. в связи с предстоящим открытием Царскосельской железной дороги и приобретением первых локомотивов в петербургской газете «Северная пчела» в № 223 от 30 сентября сообщалось: «Немедленно по прибытии паровых машин, которые для отличия от водяных **пароходов** можно было бы назвать **паровозами**, последуют опыты употребления их...» Наш современник, известный лингвист Ю. С. Со-

рокин считает, что редактор газеты Н. Греч, немец по происхождению, создал слово *паровоз* по образцу соответствующего немецкого слова.

Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» (1877) открыл нам историю глагола *стушеваться:* «...всем оно известно, все его понимают, все употребляют. И однако во всей России есть один только человек, который знает точное происхождение этого слова, время его изобретения и появления в литературе. Этот человек — я, потому, что ввел и употребил это слово в литературе в первый раз — я. Появилось это слово в печати, в первый раз, 1-го января 1846 г., в «Отечественных записках», в повести моей: «Двойник, приключения господина Голядкина».

И. Ильф и Е. Петров в повести «Тоня», рассказывая о первых холодильниках, не употребили слово *холодильник: В рефрижераторе у нее лежали... три грейпфрута, яйца, бутылки с молоком, масло.* В другом месте они вместо иностранного слова использовали словосочетание *холодильный шкаф.* Там же говорится, что детская колясочка ребенка Тони была похожа на ракету-спутник. Но использовано другое слово: *Тоня на целые дни увозила Вовку в его междупланетном снаряде в прекрасный парк.* Слово *спутник* (в значении 'искусственный спутник Земли') распространилось совсем недавно. Тогда оно еще не было известно. А сейчас ни один писатель не написал бы *междупланетный снаряд* (без стилизации).

Много новых слов — индивидуально-стилистических неологизмов — создают поэты, писатели, журналисты. Но редкие из них получают права гражданства в общем языке.



Современник Пушкина, прозаик, которым зачитывалась вся Россия, декабрист А. А. Бестужев-Марлинский в «Кавказских очерках» создал новое слово — *видопись: Никогда не забуду тебя, видопись алазанской долины* — и в примечании подчеркнул: «Волею или неволею, а должны принять гос-

пода уставщики кавык мое слово *видопись* вместо *пейзаж*, по крайней мере зауряд, до изобретения лучшего». Известный журналист того времени Сенковский сразу же отметил рождение нового слова: «Оно так счастливо, так согласно с духом языка, что будет принято с восхищением и благодарностью всею Россиею. Если б автор не сказал, что оно ново, мы бы даже не приметили этого и были бы уверены, что оно родилось того же года, месяца и числа, как слово *живопись*. *Видопись* превосходно выражает и искусство пейзажиста, и самый пейзаж, т. е. вид страны».

Это был 1835 год. А в 1840 г. в «Чтениях о русском языке» Н. И. Греч констатировал: «В наше время сочинено было слово *видопись*, и сочинение его приписано гениальному писателю: оно не принялось на почве русского слова и завяло вместе с листом журнала, на котором поднесли его русской публике...» И мы до сих пор говорим *пейзаж* или *ландшафт*, хотя слово *видопись* как будто очень удачно».

Однако некоторым словам повезло: созданные «мастерами слова», они живут в общенародном языке. Расскажем о наиболее известных и ярких случаях.

Скучно Кондратию Трифоновичу, герою рассказа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Деревенская тишь». Одно развлечение — беседы с местным священником. Хоть и ничего умного батюшка не скажет, да мудрено говорит, любит слова с *благо-*: *благополезное дело, благоутробно, время не благопотребное*. Или изречет: *Во благовремении и пища невредительна бывает*.

«И откуда ты этаким глупым словам выучился! Говорил бы просто: непотребное время! И не надоело тебе язык-то ломать!» — строго говорит Кондратий Трифонович. И пугает батюшку, рассказывая, что на днях Скуракин попа высек: «Да брат, тоже вот все говорил: «о гресех» да «благоутробно» – ну, и высек».

Батюшка сердится: «Неблагообразно шутить изволите!»

Открыто издевается над ним собеседник: «Ну, и опять тебе говорю: кого ты своими благоглупостями благоудивить хочешь?»

Так, в 1863 г. родилось еще одно слово русского языка — *благоглупости*. Слово понравилось, стало популярным. В 70—80-е годы оно замелькало в разных издани-

ях, стало модным в публицистике. Известны и другие неологизмы Салтыкова-Щедрина: *пенкосниматель, злопыхательство, мягкотелый.* Первое время создателя помнили. Так, в повести Мамина-Сибиряка «Ранние всходы» мы встречаем ссылку на Салтыкова-Щедрина: «И вдруг в твоих письмах какое-то злопыхательство, как говорит Щедрин». Для говорящего это еще как бы слово-цитата. Теперь же большинство употребляющих данные слова даже и не догадывается о существовании их создателей.

Интересна судьба слова *елейный.*

Ю. С. Сорокин в книге «Развитие словарного состава русского литературного языка» писал: «Переносное значение прилагательного *елейный* было подготовлено идущим еще от церковных книг образным применением слова *елей* (елей — оливковое масло). В 40-е годы прошлого века В. Г. Белинский очень часто употребляет слово *елейный* именно в положительном смысле. *Елейность* становится синонимом душевной теплоты, мягкости, кротости, деликатности. «В дальнейшем случилось то, — пишет Ю. С. Сорокин, — что нередко бывает с высокими по тональности книжными словами... Слова *елейный* и *елейность* не могли нейтрализоваться... — для этого они были слишком эмоциональны, слишком «качественны». Явилось другое — смена эмоций, связанных со словом, его смысловое «ухудшение»... вносится тот специфический оттенок, который ... прочно сохраняется до нашего времени (приторно ласковый, искусственно мягкий, лицемерно угодливый)».

Белинский, который увлекался немецкой философией, ввел в широкое употребление и слово *филистер.* Это слово заимствовано из немецкого языка. Сам критик объяснял его так: «Толпа есть собрание людей, живущих по *преданию* и рассуждающих по авторитету... Такие люди в Германии называются *филистерами,* и пока на русском языке не приищется для них учтивого выражения, будем называть их этим именем».

Филистер в переводе с немецкого буквально значит 'филистимлянин'. Известно, что филистимляне — древний народ, населявший южную часть восточного побережья Средиземного моря. Каким же образом филистимляне вдруг были зачислены в филистеры? Случай, если не анекдотический, то все же забавный. Рассказывают, что в XVII в. в Германии студенческие корпорации по-

стоянно враждовали с остальным населением университетских городов. Дело часто доходило до ссор, а иногда и до драк. Во время одной из таких потасовок между студентами и ремесленниками Иены в 1693 г. был убит студент. Местный пастор господин Гетц в ближайшее же воскресенье произнес по этому поводу яркую проповедь. Как это обычно бывало, почтенный пастор использовал библейскую аналогию. Он взял в пример богатыря Самсона, трагически погибшего в борьбе против филистимлян. Прихожане расчувствовались до слез.

Проповедь произвела большое впечатление, а сравнение так всем понравилось, что с тех пор ремесленники стали называть себя «филистерами», т. е. «филистимлянами». Позже филистимлянами стали называть всех нестудентов. А еще спустя несколько времени слово *филистер* стало обозначать людей необразованных, отсталых в культурном отношении и в умственном развитии.

Пушкин, характеризуя Ленского, написал о нем: *Душой филистер геттингенский* И ошибся: плохо понимал значение слова, связывал его с немецкими студентами и хотел сказать, что Ленский очень на них похож. На ошибку указали, и Пушкин в новом издании переработал стих.

К слову *отсебятина* в «Толковом словаре» Даля находим такое примечание: «Слово К. Брюллова: плохое живописное сочиненье, картина, сочиненная от себя, не с природы, самодурью». К. Брюллов требовал от художника точного воспроизведения натуры, а не придумывания, пририсовывания деталей «от себя».

Судьбы слов различны, как и судьбы людей.

МЫ ОТКРЫВАЕМ КОНТИНЕНТЫ

Азия, Америка, Европа — привычные названия. Мы не задумываемся, откуда они взялись, как не задумываемся над происхождением слов *лес, дом, сон.* История названий континентов связана с их открытием, освоением. Если некоторые из них понятны любому образованному человеку, то происхождение других является тайной даже для специалистов. Если легко сообразить, что Антарктика — это материк и прилегающие к нему острова, расположенные «против» Арктики, против северных земель и морей (все знают, что *анти* значит ‘про-

тив', многие знают, что *арктикос* значит 'северный'), то не каждому известно, что древнегреческое *арктикос* образовано от слова *арктос* — 'медведь'. Имелось в виду название созвездия Большой Медведицы. Словом *Арктика* стали называть страны, лежащие под этим созвездием, позже — Крайний (или бескрайний) Север.

Проще всего обстоит дело с названием Америки. Известно, что Христофор Колумб, открыв в 1492 г. новые земли, был убежден, что нашел новый путь в Индию. Ошибку Колумба обнаружил в 1500 г. итальянский путешественник Америго Веспуччи, который несколько раз совершал путешествия к новому материку. Земли, открытые Колумбом, Америго Веспуччи назвал Новым светом, а в 1507 г. молодой ученый Вальдземюллер в своей книге «Введение в космографию» впервые употребил название — еще одна историческая несправедливость — *Америка.* На долю же Христофора Колумба осталась лишь небольшая часть материка — страна *Колумбия.*

В одной из древних скандинавских саг повествуется о большой земле, расположенной к западу от Гренландии. Это прекрасная, богатая страна. В ней растет виноград, это Винланд. Мало ли о чем говорит древний эпос! Сказание есть сказание. Это ведь не научные труды, а поэзия. Но однажды, в конце прошлого века, канадский фермер, обрабатывая свой земельный участок, нашел в земле камень. Эта глыба могла пригодиться в хозяйстве. Он привез ее на двор. Дождь и ветер очистили камень от глины, и тут обнаружилась на нем странная надпись. О находке сообщили ученым. Надпись прочли и удивились. Она гласила, что несколько го́тов и норвежцев, путешествуя из Винланда на запад, ловили рыбу «в одном дне пути к северу от этого камня». А дальше случилось нечто страшное: «Когда мы вернулись, нашли десять человек, обагренных кровью и мертвых. AVM (ave virgo Maria — приветствуем тебя, дева Мария), избавь от беды». Это был год 1362-й. На 130 лет раньше Колумба. Выходит, Винланд сказания — это не фантазия, значит, наверное, жители Северной Европы знали еще до Колумба о существовании Америки. Этот континент открывали несколько раз, и он, оказывается, имел несколько названий.

С Австралией все произошло наоборот: материк еще не был открыт, а его название уже существовало. В древ-

ности считали, что где-то на юго-востоке находится огромный материк, который должен был уравновешивать земли Северного полушария. Его так и назвали: terra australis incognita, что означало в переводе с латыни 'неизвестная южная земля'. В XVI в. после открытия ряда крупных островов в Тихом океане — Явы, Суматры, Борнео (ныне о. Калимантан), Целебеса — никто уже не сомневался в существовании Австралии. Уверенность была столь сильной, что, увидев в Тихом океане какую-либо сушу, ее сразу принимали за южный материк. Так поступил испанец Менданья, открыв Соломоновы острова. Португалец Кирос, обнаружив Новые Гебриды, назвал новую землю «Австралией Духа Святого» и, чтобы раньше всех сообщить об открытии, тайком бежал в Перу на одном из кораблей, входивших в состав экспедиции. Португалец Торрес на двух оставшихся кораблях обследовал новооткрытые земли и убедился, что это острова, а не материк. Он двинулся дальше. Вскоре мореплаватели обнаружили пролив, отделяющий Новую Гвинею от подлинной Австралии (Торресов пролив). Об этом было послано донесение испанским властям на Филиппины. На новом материке надеялись найти горы золота и драгоценностей. Открытие Торреса (1606 г.) было строго засекречено. 150 лет мир не знал о нем. Англичане нашли донесения в архивах, захватив город Манилу на Филиппинах. В XVII в. постепенно было нанесено на карту почти все западное побережье. Эти огромные области назвали Новой Голландией. Казалось, южнее уже невозможно спуститься — штормы и туман загораживали путь. Нужна была особая выдержка и находчивость, чтобы идти вперед и достичь цели. Окончательный ответ на вопрос о существовании земли у Южного полюса удалось дать русской южнополярной экспедиции «Востока» и «Мирного» под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева в 1820 г.

Похищение Европы — известный античный сюжет. Зевс, явившись в виде быка, похитил прекрасную дочь финикийского царя Агенора, игравшую с подругами на берегу моря. В одной из од Горация Венера предсказывает похищенной деве, Европе, что ее имя будет носить целая часть Земли. Это в поэзии, а историк знает, что в действительности по названию материка и дано имя богине. Слово *Европа* родилось в Азии. Лингвисты предполагают, что представление о Европе впервые возникло

у финикийцев. Его выводят из семитского *эреб* — 'вечер, запад, мрак'. Жители Малой Азии другую сторону моря называли темной, вечерней стороной, стороной заходящего солнца. Естественно, такое название относилось первоначально не к материку в целом, а непосредственно к прилегающим территориям. В «Кратком топонимическом словаре» В. А. Никонова (М., 1966) читаем: «Еще в III веке название *Европа* означало только небольшую римскую провинцию близ Дарданелл (Галлипольский полуостров и прилегающие местности). Современное содержание названия *Европа* очень позднее».

Название Азии, также, бесспорно, семитского происхождения. Об источнике самого слова существует несколько гипотез. Одни выводят его из тохарского языка, другие думают о древнееврейских корнях. Наиболее вероятной кажется связь с ассирийским словом *асу* — 'восток'.

Таким образом, Азия противопоставлялась Европе как восточная сторона, сторона восходящего солнца. И это название тоже сначала распространялось только на прибрежные районы.

Еще больше гипотез существует о происхождении Африки. Дидро и д'Аламбер в своей «Энциклопедии» разложили название континента на составляющие — *а* и *фрик,* что должно означать 'страна без холода'. Однако вероятнее другое предположение: римляне, как пишет немецкий ученый Шторфер, захватив северную часть Африки, назвали эту местность по имени одного из тамошних племен. То же мнение высказано и В. А. Никоновым в «Топонимическом словаре»: «Древние греки и римляне называли ее *Ливия* по народу *либу,* жившему в средней части Средиземноморского побережья (сохранилось в названии современного государства Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия). До н. э. южнее Карфагена обитало берберское племя афригии (африди); по нему римляне во II в. до н. э., завоевав Карфаген, назвали образованную там римскую провинцию Africa (территория современного Туниса). К началу средних веков это название распространилось на Алжир и Ливию, а с колониальными захватами европейцев — на весь материк».

Так люди открывали и познавали планету.

Географические названия вообще представляют большой интерес. Ведь за каждым из них история народа,

населявшего ту или иную местность, и история ее научного исследования.

Поражаешься разнообразию географических названий. Как много, например, названий городов, связанных с именем С. М. Кирова — *Кировобад, Кировакан, Кировград, Кировоград, Кировск, Киров.* В названиях городов, морей, островов мы встречаем фамилии, имена исторических деятелей, например море *Лаптевых,* остров *Врангеля,* город *Загорск,* станции *Лев Толстой, Ерофей Павлович* (Хабаров), а иногда и простых людей, таких как охотник Егор — город *Игарка,* выросший на месте небольшого зимовья.

Многие географические названия, простые и понятные на первый взгляд, оказываются в действительности сложными и загадочными. В. А. Никонов в предисловии к топонимическому словарю писал: «Как раз особенно трудны те названия, которые большинству кажутся самыми понятными: *река Сосна. Черное море. Царское Село* (ныне г. Пушкин). Всего опаснее доверяться внешнему сходству: оно обманчиво. Название села *Крещеный баран* (в левобережье Среднего Поволжья) не имеет никакого отношения к животноводству, как и *Петухово* к птицеводству или *Жуковка* к насекомым». И далее объяснял: «Если бы гидроним[1] *Сосна* возник из русского нарицательного *сосна,* то по законам славянских языков он не мог иметь такой формы. За хвойные деревья по берегам реку могли назвать *Сосновая, Сосновка, Сосенка,* но не *Сосна,* ведь это означало бы тождество «река-сосна». В самом деле, в нашем языке, как и в других славянских, различные отношения слов, их соотнесенность обозначаются суффиксами и другими грамматическими формами, что связано почти всегда с переоформлением, видоизменением слова. Многие привычные формы кажутся простыми и естественными только потому, что они привычны. В том же предисловии читаем: «Часто название кажется вполне знакомым, раз знаком (или кажется знакомым) его корень: «Нечего раздумывать над названием *Ледовитый океан* и *Волгоград,* тут все ясно». Так ли? Почему *Ледовитый,* а не *Ледовый,* не *Ледяной,* не *Льдистый* и пр. Почему *Волгоград,* а не *Волго-*

[1] *Гидро́ним* — родовое обозначение названий рек, водных пространств и т. д. (*Прим. ред.*)

город (Новгород, Белгород)? Почему город на Волге — *Волгоград,* а на реке Томь — *Томск?»*

Вопросов много, и весьма сложных. Тем более что с течением времени облик слова, географического названия, меняется. *Охотское* море было названо так русскими казаками, проникшими на его берега в XVII в. не потому, что они там охотились, а по реке Оката, которая была переиначена в *Охота* (кстати, у этого моря были и другие названия — *Ламское* море (в тунгусских языках *лам* значит 'море'), *Амурское, Камчатское*). Иногда под чужим, непривычным названием для нас может вдруг открыться нечто близкое, известное. Например, на северо-западе ГДР расположен живописный старинный город — Шверин. Это славянское обозначение — Зверин (от *зверь*) указывает на то, что некогда здесь обитали славянские племена. Другой пример. Из химии нам известно латинское название серебра. Но соотносим ли мы его с названием государства в Южной Америке — Аргентина? *Аргентина* значит по-латыни 'серебряная'. Испанские завоеватели, впервые ступившие на эти земли, надеялись здесь найти сокровища. Себастьян Кабот, возглавлявший испанскую экспедицию в 1526 г., проник в глубь территории. Он был убежден, что легко разбогатеет, так как видел у индейцев племени гуарани большое количество разнообразных украшений из серебра. И реку, и всю окружающую территорию испанцы назвали Ла-Плата ('Серебряная'). Серебряные изделия легко было выменять у индейцев, но найти серебро не удалось. Богатые серебряные рудники находились далеко, в Боливии.

Наиболее трудными для объяснения оказываются для лингвистов слова древние, нередко наиболее известные — *Волга, Москва, Киев* и др. При этом всегда возникает множество легенд, фантастических сказаний и гипотез, вызванных естественным стремлением объяснить, мотивировать то или иное обозначение. Так, еще в «Повести временных лет» сделана попытка объяснить происхождение названия Киева: жили три брата — Кий, Щек и Хорив и сестра Лыбедь. Мало мы знаем о подвигах братьев, но достаточно того, что основали город — *и створиша град во имя брата своего старейшего, и нарекоша имя ему Киевъ.* Название Волги связывали и с наименованием птицы иволги, и с существительным *влага* и др.

Но не только легенды знает современная география, фантастика совсем иного рода, удивительные открытия привлекают наше внимание. Расскажу об одном.

Замечательный полярный исследователь Владимир Юльевич Визе участвовал во многих арктических экспедициях, но остров в Карском море, названный его именем, он открыл, сидя за письменным столом в своем кабинете. Внимательно изучая дрейф затертой во льдах «Св. Анны» (1912—1914), он обнаружил, что направление движения льдов заметно отклонялось от направления ветра. В. Ю. Визе заинтересовали записи в судовом журнале: «На горизонте много полыней», «Вокруг много полыней», то вдруг изменения: «Полыньи зажаты», «Полыньи уменьшились, а некоторые и совсем зажаты», «Полыньи все зажаты». «Чем вызывается такое состояние льда?» — размышлял Визе. Нет сомнения — причина в перемене ветра. На это указывают такие записи: «Восточным ветром начало разводить полыньи», «Ветер перешел на NE, и все полыньи опять развело». Итак, периодам разводья всегда соответствовал ветер с востока, а в периоды сжатия льдов ветер дул с запада. Значит, двигаясь с запада на восток, льды встречают какое-то препятствие. И Визе пишет в 1924 г. статью «О поверхностных течениях в Карском море», где приходит к выводу, что все изученные им факты «указывают на то, что льды, двигавшиеся под влиянием ветра, встречали какое-то препятствие, каковым прежде всего и можно принять близкую сушу». В 1930 г. экспедицией на ледоколе «Седов» остров был найден. Плавание на «Седове» помогло Визе сделать еще одно подобное открытие. Ледокол «Седов» встретил неожиданно большое скопление тяжелых льдов между параллелями 78°33′N и 78°17′N, тогда как севернее льдов не было. В 1931 г. в статье «К вопросу об островах в северной части Карского моря» Визе с уверенностью писал: «Учитывая господствовавшие весной и летом восточные и северо-восточные ветры, можно найти только одно объяснение указанному скоплению льдов... к западу от района сплоченных льдов находится препятствие, которое задерживает льды, двигавшиеся под влиянием ветра с востока на запад. Этим препятствием может быть остров или очень мелкая банка...» Визе предположил, что неправильно был показан на картах остров Уединение, что впоследствии подтвердилось.

Перед учеными, изучающими лингвистическую географию, стоят не менее сложные задачи, и открытия их столь же интересны, как и открытия географов.

СВЯЗИ СЛОВ

Связи слов сложны и прихотливы. Похожие (по форме) слова обычно близки и по смыслу. Скажем, бросается в глаза родство слов *стол* и *столовая.* Но иногда мы просто не замечаем связей, которые со временем (в ходе развития языка) становятся менее очевидными. Например, замечаем ли мы сходство или историческую близость слов *стол* и *постель*? А ведь оба слова восходят к одному источнику — *стлать, стелить.* Понятие *стол* первоначально обозначало то, что 'простирается', то, что стелется, подстилку, затем возвышение, покрытое такой подстилкой, затем и род мебели.

В древнерусском жилище обязательно стоял стол. Вокруг него скамьи, лавки. Скамьи шире лавок. На них не только сидели, но и спали, отдыхали после обеда. Они накрывались полавочниками. Кроватью нашим предкам служила скамья, прикрепленная к стене. К такой скамье могли приставлять еще лавку, затем клали, стелили постель: пуховики (или перины), изголовья и подушки. Постель (то, что стлали) покрывалась простынею из полотна или шелка, закрывалась одеялом. В праздники постель убирали понаряднее: на изголовья и подушки натягивались наволочки бархатные, атласные, обыкновенно красного цвета, шитые золотом и серебром, унизанные жемчугом по окраинам. Одевались бояре одеялами дорогими, подбитыми соболем, атласными, красного цвета с гривами, то есть каймами золотой или серебряной материи. Простые одеяла подбивались заячьим мехом. История знает, что вообще-то постели были только в богатых домах, да и то стояли больше для украшения жилища, а хозяева охотнее спали на простой звериной шкуре. Бедняки же спали попросту на печах, положив под голову собственные порты. В. И. Даль так определял значение слова *постель:* «постилка, ложе, одр, все, что стелется, что постилается под себя, для лежки, отдыху, спанья; войлок, мешок, набитый соломой, тюфяк с периной, с подушками, одеялом».

Страда и *страдать* — случайно или неслучайно сход-

ство этих слов? Понять это помогает словарь. В том же словаре Даля о слове *страда* читаем: «тяжелая, ломовая работа, натужные труды и всякого рода лишенья». Для земледельца, конечно, период ломовой работы — время уборки хлебов и покос.

Сопоставляя похожие слова, вникая в их смысловые отношения, мы открываем какие-то стороны и особенности жизни наших предков.

Вот еще как будто бы неоправданное сходство: *отвага — отважный, отважный — важный, важный — уважать*. Некогда существовало слово *вага*, существительное. Впрочем, оно и сейчас живет в некоторых говорах и родственных языках. Группа лингвистов во главе с И. А. Оссовецким как-то поехала в деревню Деулино (Рязанская область). Деревня живописно раскинулась на высоком берегу реки Пры. Вокруг — прекрасные сосновые леса. И слышат москвичи рассказ о том, как лес раскорчевывали — пни выворачивали вагами. Слово *вага* — живое, вполне употребительное. Да и слово *важный* здесь всем знакомо, только в специфическом значении — 'важный голос, важная песня'; значит — 'хороший, обладающий положительными качествами'.

Впрочем, само слово, конечно, было хорошо известно приехавшим лингвистам и по другим источникам. Оно употреблялось и со значением 'вес, тяжесть'; этим словом называли и большие торговые весы, и толстую жердь, служащую рычагом при поднятии тяжестей. Стало быть, важный — это 'имеющий вес', сначала в прямом, а потом и в переносном смысле. Можно думать, что смелость и то качество, которое мы обозначаем словом *отвага*, высоко ценились, делали человека «весомым», значительным. Это тем более понятно, что нашим далеким предкам все время приходилось бороться — либо с врагами, либо с природой.

Иной раз сходство слов может быть прямо-таки разительным, а мы его не замечаем или не хотим замечать, признавать. Так, есть в русском языке слово *наряд*. Возможно, два слова: *наряд*[1] и *наряд*[2]. В словарях дается именно два слова. Одно значит 'одежда', другое — 'распоряжение' (дать наряд на работу, поручение военному и проч.). Смысловой связи между ними, кажется, нет совершенно. Так же как между словами *ключ* (источник) и *ключ* (для замка). Оба понятия станут ближе, если мы от существительного перейдем к глаголу — *нарядить, на-*

ряжать. Нарядить — значит 'приготовить, снабдить всем необходимым' (для работы или для путешествия), всем — от одежды до наставления, указания. Отсюда и слова *рядить, рядиться, нарядить, наряд* со всеми своими значениями, образованиями. Отсюда и слово *снаряд.* А может быть, два слова или даже три: одно обозначает вид боеприпасов, другое машину или прибор (гимнастические снаряды для пушек не годятся), третье — устаревшее — набор инструментов.

Снаряд — это в сущности 'снаряжение'. *Снарядить* — подготовить что-нибудь к отправке, к работе. Можно было снарядить соху, станок, снарядить ловушку; можно было и человека снарядить в дорогу, и снарядить войско обозом, одеждой, боеприпасами. Вот и стало: *снаряд* — снаряжение, отправка; предметы, необходимые для работы, для дела, для похода, предметы технического свойства, а если, что важнее всего, готовился военный поход, то имелось в виду прежде всего вооружение, позже — артиллерийское оружие, затем — снаряд (в нашем понимании). Да и слово *орудие* имеет и мирный, и военный смысл; и развитие значений, кажется, шло тем же путем. Первоначально — 'дело, занятие', затем — 'средство действия, занятия', 'прибор, инструмент, механизм', 'механизм, приспособление для артиллерийской стрельбы'. А некоторые образования вовсе не имеют военного значения. Например, глагол *орудовать,* глагол *соорудить.*

Старые корни способны долго питать и поддерживать жизнь новых слов. Взять хотя бы древний глагол *спеть.* От него пошел даже не ряд, а три ряда слов, которые сейчас не осознаются как близкие, родственные, их связь не замечают. Получается, что один корень работает за троих. Одно дело *спеть* в отношении к растениям: *рожь поспела.* Отсюда *спелый* в значении 'зрелый': *спелые яблоки, спелость.* С другой стороны, слово *спех,* образованное посредством употребительного некогда суффикса *х* (*дуть — дух, спеть — спех*). *Спех* — 'быстрота, срочность'. Кажется, что сейчас нет этого существительного, а тем не менее мы слышим: *к спеху, не к спеху, наспех.* Есть разговорный глагол *поспеть,* чаще же мы используем другое слово — *спешить. Спешить* — значит 'стремиться, торопиться'; *поспешно* — прежде значило 'старательно', *поспешать* — 'торопиться на помощь'. Раньше тот, кто очень старался, делал работу скоро. Но иной раз бывает иначе: делаешь скоро — делаешь плохо.

Говорят: *поспешишь — людей насмешишь.* То, что сделано быстро, часто бывает необдуманным.

Наконец, третий ряд: *спеть — успеть — успевать — успех — успеваемость — безуспешный.* Ведь в самом деле, кто стремится, тот и добивается успеха. Существовали и другие слова в этом ряду: *преуспеть, преуспеяние, поспешение.* Некоторые из них забыты, другие продолжают жить, приспособившись к новой роли. Взять хотя бы слово *приспешник.* Сначала помощник в стряпне, в изготовлении хлебов, затем просто помощник. И сейчас тот же смысл, только с презрительным, ироническим оттенком — 'клеврет, приверженец'. Или слово *доспехи. Доспеть* — значило 'приготовиться, собраться', затем — 'приготовиться к бою, битве'. Отсюда — *доспех* — 'снаряжение, защитное вооружение воина в старину'.

Столько ответвлений и от слова *след. След* — 'отпечаток ноги или лапы'. *Следить* — 'оставить след'. *Наследить* — 'оставить грязный след'. *Наследовать* — совсем иное.

Такого рода сопоставления нас легко могут вывести и за пределы родного языка. Слово *алмаз* по первоначальному смыслу значит 'неукротимый, несокрушимый', отсюда — 'самый твердый камень'. Многим известно, что в греческих словах начальное *а* часто значит 'не'. В школе нам говорят, что *атом* значит 'неделимый', что корень этого слова принадлежит глаголу со значением 'делить, рубить'. И тот же корень в слове *анатомия.* Следовательно, *анатомия* буквально значит 'разрезание, рассечение'. Тот же корень и в слове *том.* В самом деле, *том* — это часть книги или собрания книг, сочинений, как бы нечто от них отрезанное.

Также всем известна отрицательная греческая приставка *анти-. Анти-* значит 'против'. *Антифашист* — 'человек, действующий против фашистов'. *Антитеза* — 'противопоставление, противоположность'. Странно выглядит слово *антибиотик.* У древних греков слово *биос* обозначало 'жизнь'. Получается, что *антибиотик* — средство «против жизни». А оно убивает микробов, уничтожает микроорганизмы и спасает жизнь больного. Но, может быть, это средство «против жизни микробов»?

Слов с *анти-* много. Например, *антипатия.* Слово состоит из двух частей: *анти* — 'против' и *патос* — 'чувство, расположение к кому-нибудь'. В русском языке немало слов с этим корнем *пат-.* Слово *патос* закрепилось

у нас в форме *пафос*. Слово вошло в общее употребление в первой половине XIX века. Его любил В. Белинский и видел в нем высокий эстетический смысл. Наследуя и развивая теории античных мыслителей, он писал: «Мысль в поэтических созданиях — это их *пафос*, или *патос*. Что такое пафос? — Страстное проникновение и увлечение какой-нибудь идеею».

Без труда угадывается и другой родственник — слово *симпатия*. Оно буквально значит: *со-чувствие*. Знакомая отрицательная частица видна и в другом слове с корнем *пат-*, в слове *апатия*. Оно вошло в нашу речь одновременно со словом *пафос*. Многие возражали против принятия нового слова: почему не *бесчувствие*, не *состояние душевного безразличия?* почему не *равнодушие?* почему не использовать эти русские синонимы? зачем лишнее заимствование? Однако слово *апатия* оказалось необходимым, обогатило русский язык. Оно несло в себе очень важные общественно-политические смысловые нюансы, которых не было у слов *равнодушие* и *бесстрастие*. В конце концов слово было узаконено, а его «медицинская сестра» — слово *патология* — прошло и вовсе без возражений.

В тот же ряд обманом стал и другой термин — *апатит*. В переводе с греческого *апатит* буквально значит 'обманчивый' (образован от существительного со значением 'обман, заблуждение, хитрость'); такое название минерал получил из-за своего внешнего вида, так как его на первый взгляд трудно отличить от других минералов. Есть даже древнегреческий миф про Апату, дочь Ночи, богиню, олицетворявшую обман.

Зная характер родственных связей слов, мы легче можем осознать смысл абстрактных понятий. Слово *аспект* восходит к латинскому корню со значением 'взгляд, воззрение'. Тот же корень и в глаголе *спектаре* — 'смотреть, рассматривать'. От него пошло обозначение зрелища или «зрелищного места» — спектакль (слово принято в русский язык в XVIII веке. *Спектр* — буквально значит 'видимое'). *Проспект* — 'прямая и широкая городская улица' — слово того же корня — значит собственно 'вид вдаль', *перспектива* — 'насквозь видимое, просматриваемое'.

Конкретное значение слова часто развивается, видоизменяется, становится абстрактным. От латинского глагола со значением 'вбивать' образовалось слово *фик-*

сус — ‘вбитый, вколоченный’. Но *вколоченный* значит и ‘твердый, прочный’. Отсюда у нас слова *фиксировать* (закреплять, устанавливать), *фиксация, фиксаж.* Во французском языке то же слово в форме *фиш* стало обозначать ‘то, что вбито, вколочено, твердый колышек’. Появился затем новый глагол — *аффише* — ‘прибивать’; затем и слово *афиша* — ‘то, что прибито’, отсюда и хорошо известное нам значение этого слова — ‘объяснение’ (о спектакле, концерте); от него новый глагол — *афишировать.* Сейчас его нельзя употреблять в значении ‘извещать, вывешивая афиши’, сейчас у него другой смысл.

Слово *бухгалтер* взято из немецкого. *Бух* — по-немецки значит ‘книга’, а все слово буквально переводится ‘книгодержатель’, но бухгалтер держит особого рода книги, это особая профессия. Слово *бюджет* — английское и первоначально обозначало ‘кошелек, сумка’, затем оно получило специфический смысл. Так называли портфель, в котором министр казначейства носил в парламент деньги и свои отчеты; позже слово стало обозначать ‘отчет министра казначейства перед парламентом’, сейчас это ‘смета доходов и расходов’.

У итальянцев мы взяли слово *газета.* Итальянцы этим словом обозначали мелкую монету. А так как в XVI веке газеты писали от руки и предлагали для прочтения за плату, то слово *газета* стало обозначать ‘листок с сообщениями’, за чтение которых платили мелкой монетой. Постепенно развилось современное значение.

Чем более тесными и разнообразными становились связи разных народов, тем более интенсивно шло взаимообогащение языков.

Особенно много иностранных слов пришло в наш язык в XVIII веке, в эпоху преобразований и реформ Петра Великого. Петр I вводит в школах алгебру, физику, химию, оптику и проч., заботится о распространении медицины, пропагандирует не только естественные, но и гуманитарные знания, знакомит Россию с культурой и архитектурой Запада. Естественно, при заимствовании понятия используются немецкие, французские, итальянские слова.

Царь Петр сам серьезно интересовался филологической работой, вплоть до того, что находил время для редактирования словаря иностранных слов. Многие толкования, данные составителем словаря, Петр исправлял,

заменял полностью или весьма значительно. Взять, например, толкование первого же слова — *авангардия* — ‘прохождение войска, передний полк’. Петр, заметив неточность и неопределенность его, зачеркивает вовсе и пишет: «от главного войска часть передовая». Это определение настолько точно, полно и вместе с тем лаконично, что, по существу, остается неизменным. Сравним толкование того же слова в словаре В. Даля: «отдельная часть войск, передовой отряд, впереди армии или отряда же»; и в словаре С. И. Ожегова: «часть войск (или флота), находящаяся впереди главных сил». Слово *амбиция* также привлекло внимание царя. Оно толковалось следующим образом: «гордость, пыха, желание чести». Петр зачеркивает первые два слова. Слово *амнистия* объяснялось вовсе неверно: ‘беспамятство’. Петром зачеркнуто и надписано: «забытие погрешений».

Вместо толкования ‘последний полк или задний’ к слову *ариергация* царь дает: «задняя часть войска от большого войска для опасности». Чрезвычайно интересно для нас определение Петром слова *ассамблея*. Зачеркнуто малопонятное: «веселое собрание, или вечеря свободная» и заменено так: «волной приход всякому в чей дом в назначенное время для веселья кроме ужина». К слову *атака* было: «осада городовая». Петр добавил: «и наступление на неприятеля везде на земли и море». Составитель словаря писал, что *глобус* — «круг земный, в подобие яйца построен». Петр вместо *яйца* ставит *яблока*.

Связи слов во многих случаях трудно обнаружить. Для этого приходится идти к истокам слов, заниматься этимологическим анализом. А он требует и больших усилий, и многих специальных знаний.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

СЕДЬМОЙ ПАДЕЖ?

Говорят, что каждое открытие начинается с удивления. В самом деле, удивится человек, казалось бы, совсем неудивительным, обычным вещам, тому, что знают, видят все: почему яблоко падает, почему небо голубое, почему листья зеленые; задумается, станет расспрашивать, читать — и сделает открытие. Даже если наука давно объяснила эти явления, все равно он сделает открытие — для себя...

Вот строчка из Маяковского: *Я бы в летчики пошел...* Простой вопрос: какой падеж *в летчики?* — Конечно, винительный! — ответят вам. Что же здесь загадочного? Давайте просклоняем это существительное: именительный (к т о?) — *летчики;* родительный (к о г о?) — *летчиков;* дательный (к о м у?) — *летчикам;* винительный (к о г о?) — *летчиков.*

Может быть, *летчики* — это творительный? Нет, творительный — *летчиками,* а предложный — *о летчиках.* Перебрали все падежи. Выходит, что форма *летчики* возможна только у именительного падежа множественного числа. Но ведь в предложении *Я бы в летчики пошел* подлежащее — личное местоимение *я,* а *в летчики* — дополнение, причем с предлогом, а дополнение не может стоять в именительном падеже. Но если *в летчики* — это не именительный и вообще не подходит ни под один известный падеж, то что же это? Неужели какой-нибудь новый, седьмой падеж?

Теперь, когда мы знаем, что язык изменяется вместе с развитием общества, что некоторые старые формы исчезают, а другие видоизменяются, приспосабливаются к новым условиям и выполняют важные функции в современном языке, эти вопросы нас не могут смутить. Мы понимаем, что надо заняться тем, чем занимаются археологи, — раскопками, но только «раскопками» в языке. Не являются ли эти малопонятные, необъяснимые с точ-

ки зрения современного языка факты следами, остатками системы древнерусского языка, языка наших предков?

Нам известно, что винительный падеж одушевленных существительных мужского рода сходен с родительным, а неодушевленных — с именительным.

	Неодушевленные	Одушевленные
И.	*стол, дом*	*брат, ученик*
Р.	*стола, дома*	*брата, ученика*
В.	*стол, дом*	*брата, ученика*

Но так было не всегда. В XI в., например, не было такой разницы между одушевленными и неодушевленными существительными и винительный падеж всегда совпадал с именительным. Тогда, например, говорили: *Выпусти ты свой муж, а я свой* ('своего воина, а я своего'); *повеле оседлати конь* (мы бы сказали *коня*) и т. д.

Постепенно у некоторых слов винительный падеж начинает совпадать с родительным. Однако старые формы сохранялись долго. Даже у писателей XVIII и XIX вв. можно встретить винительный, сходный с именительным (теперь у этих слов винительный совпадает с родительным). У Пушкина в «Сказке о золотом петушке» читаем:

Медлить нечего: «Скорее!
Люди, на конь! Эй, живее!»

Знаете ли вы загадку: *Кто таков Иван Пятаков? Сел на конь и поехал в огонь?* Или в «Военных записках» знаменитого поэта-партизана, героя войны 1812 г. Дениса Давыдова: *...сел на конь и уехал; Мы вскочили на конь* (это выражение жило особенно долго). Нам кажутся странными, неправильными эти обороты потому, что мы привыкли видеть здесь винительный, сходный с родительным. И та же привычка скрывает от наших глаз странность, «неправильность» (с точки зрения современного языка) оборотов с винительным падежом типа *пошел в летчики, выбран в депутаты, записался в дружинники, поехал в гости.* Ведь «настоящий» винительный здесь — *летчиков, депутатов, дружинников, гостей.* Следовательно, это не седьмой падеж, а винительный, но сохранивший старую форму.

В многочисленных оборотах этого типа винительный сохраняет сходство с именительным, как и тысячу лет назад, когда существительные не подразделялись на



одушевленные и неодушевленные, когда предложение *Я видел конь* звучало так же естественно, как *Я видел стол* в наше время. С течением времени винительный, сходный с родительным, употреблялся все чаще. Процесс замены был длительным. Не все слова одинаково легко и одновременно поддались изменению. Сначала форму родительного падежа усвоили имена собственные, затем слова мужского рода, обозначающие лиц: *князь, господин, отец*. Тогда уже писали: *Поищем себе князя* (вместо старого *князь*). А некоторые слова до сих пор сохраняют во множественном числе «привычки старины» и решительно восстают против всей системы склонения.

Но зачем же потребовалось заменять форму именительного падежа формой родительного? Дело в том, что при винительном, сходном с именительным, трудно было различать, говоря языком грамматики, «субъект» и «объект», т. е. действующее лицо и лицо, которое испытывает действие. Непонятно? Другими словами, трудно определить, где подлежащее, о чем идет речь в предложении, если оба существительных имеют одинаковую форму именительного падежа. Мы легко поймем затруднение наших предков, очутившись в подобном положении. Возьмем фразу *Сильно любила дочь мать.* Кто кого любил: дочь свою мать или мать свою дочь? Когда мы говорим *Буксир обогнал баржу*, ясно, что подлежащее — *буксир,* что говорят о его действиях. Но в предложении *Теплоход обогнал буксир* такой ясности нет, потому что у этих слов винительный совпадает с именительным. Нам трудно сказать, где подлежащее, где дополнение: форма слова здесь не помогает. Единственная надежда на порядок слов. Условились считать, что подлежащее в таких предложениях должно стоять на первом месте. Надежда слабая, так как в русском языке порядок слов относительно свободный, к тому же возможна инверсия, перестановка. Сейчас такие случаи сравнительно редки, а каково приходилось древним?

Нашим предкам так же непонятно было предложение *Отец видит сын,* как нам *Мать видит дочь.* И вот для того, чтобы избежать этой путаницы, чтобы понять, кто кого видит (в нашем примере), где «субъект» (подлежащее), а где «объект» (дополнение), винительный падеж сменил форму именительного на форму родительного. И двусмысленное *Отец видит сын* превратилось или в *Отец видит сына,* или в *Сын видит отца* в зависимости от смысла.

Все же почему винительный получил сходство с родительным, а не с дательным или, скажем, творительным? Чем родительный лучше других падежей? Винительному наиболее близок родительный. Это легко наблюдать и сейчас. Так, прямое дополнение может стоять только в винительном падеже. Но при отрицании оно стоит в родительном падеже: *вижу стол — не вижу стола.* Оба падежа часто употребляются в похожих, близких по смыслу сочетаниях:

Винительный	Родительный
купил хлеб	*купил хлеба*
выпил чай	*выпил чаю*
налил чернила	*налил чернил*

Разница очень незначительна, небольшие смысловые оттенки: родительный показывает, что речь идет о части предмета, вещества (выпил не весь чай, а немного, часть его и др.).

Изменяется и совершенствуется наша грамматика. Все подчинено задаче точнее, полнее выразить мысль.

ВОКРУГ МЕСТОИМЕНИЯ...

История языка может многое объяснить. Например, почему мы склоняем: *она, его, ему, им* или *ей, ею* и т. п., а в речи прибавляем иногда к этим формам звук [н]; *Подошел к нему* (ср.: *дал ему*), *зашел за ними* (ср.: *забыт ими*), *разговаривал с нею* (ср.: *куплен ею*) и др. «Пришел к ему», «беседовал с ими» — так говорят люди, незнакомые с нормами литературного языка. Когда же появляется начальное *н* и откуда оно берется? Понаблюдайте за местоимениями, и вы увидите, что *н* появляется после предлогов: *от них, к нему, с нею, за ни-*

ми, вокруг них, перед нею, посреди них... Но не после всех предлогов. После предлогов *благодаря, согласно, вопреки, навстречу* звук [н] не появляется.

Несколько столетий назад, в то время, рассказ о котором обычно начинают словами *жили-были,* предлоги *в, к* и *с* имели такой вид: *вън, кън, сън,* т. е. состояли из трех звуков (вроде наших *под, над*): двух согласных и одного особого, ослабленного, т. е. как бы «глухого», гласного — ъ (*ы*-образного звука). Старинный облик этих предлогов лингвисты обнаруживают даже в некоторых словах сейчас. Так, слово *внутри* связано по происхождению с существительным *утроба,* а глагол *внушить* происходит от слова *ухо.* Древнерусский облик этих слов — *въиутри* (т. е. 'вън утробе') и *вънушить* (т. е. 'вън уши') — хорошо показывает, как выглядел предлог (приставка) *в — вън.* И тогда писали: *вън ее, кън ему, сън ими.* А затем предлоги упростились, приобрели постепенно современный вид: сначала *въ, къ, съ,* позже *в, к, с.* Ведь мы и теперь знаем предлоги, у которых то пропадает, то вновь появляется один или два звука (буквы) — *без* и *безо, над — надо, о — об — обо* и др.

Конечное *н* предлога так легко и прочно соединялось с начальной гласной местоимения, что в конце концов стало осознаваться как часть этих местоимений, стало начинать местоимения, когда они стояли после предлогов.

Начальное *н* местоимений чувствует свою старую родственную связь с предлогом и появляется при наличии перед местоимением предлога. Нет предлога — нет и этого *н.*

До сих пор мы говорили лишь о трех предлогах — *в, к, с.* Только эти предлоги и имели на конце *н.* После других предлогов *н* в местоимениях стало появляться по аналогии.

Перед предлогами *благодаря, согласно, вопреки* и др. его нет потому, что они образовались сравнительно недавно из других частей речи и на эти предлоги пока закон аналогии не распространился.

Посмотрите еще раз внимательно на таблицу склонения местоимений 3-го лица в учебнике. Что общего между основами именительного и косвенных падежей? У косвенных падежей есть еще что-то общее — *е* или *и* начальное, а именительный падеж стоит совершенно обо-

собленно. У родственных слов обязательно должна быть общая часть, корень слова, например *стол — столица, застольный* и т. д. А здесь? Есть ли хоть одна общая буква у слов *он* и *ему* или *им,* у местоимений *она* и *ее, ей, ею?* Создается впечатление, что именительный падеж не связан с косвенными. Но ведь они считаются формами одного и того же слова. Опять загадка?

И снова история языка объясняет нам это явление.

В древнерусском языке для указания на лицо, о котором шла речь, употреблялись указательные местоимения — *и* (для мужского рода), *я* (для женского), *е* (для среднего), косвенные падежи которых (*его, ему, ей* и т. д.) сохранились до сих пор. Но и эти местоимения не вполне удовлетворяли наших предков. Можно легко заметить, что, к примеру, именительный падеж мужского рода *и* совпадал с союзом *и*, именительный падеж женского рода *я* — с личным местоимением 1-го лица *я*.

Чтобы избежать путаницы, чтобы скорее можно было понять друг друга, вместо *и, я, е* стали использовать именительный падеж другого (указательного) местоимения — *он (она, оно);* это указательное местоимение имело значение и склонялось, как местоимение *тот:*

И. *он*
Р. *оного*
Д. *оному*
Т. *оным*
П. *об оном*

Таким образом и возникли две совершенно различные основы: именительный падеж — от одного указательного местоимения — *он, она, оно,* косвенные — от других, от старых *и, я, е*:

И. *он*
Р. *его*
Д. *ему*

А что стало с формами косвенных падежей указательного местоимения *он (она, оно),* когда их покинул именительный падеж? Они долго еще употреблялись в своем основном, указательном значении, постепенно выходя из речи, но некоторые дожили и до наших дней. Мы и сейчас говорим: *во время оно, во время оны* (эти формы отличались ударением), *оный гражданин* (в ироническом смысле) и т. п.

Немало «загадок» мы найдем и в склонении прилагательных, в «сложении» частей речи. Вероятно, вы уже замечали, что падежные окончания прилагательных (вроде *синий*) очень похожи на косвенные падежи местоимений 3-го лица:

Р. *синего -его*
Д. *синему -ему*
синей -ей
Т. *синими -ими*

Что же объединяет прилагательные и местоимения?

В современном русском языке качественные прилагательные бывают и полными, и краткими. Так было и в древнерусском языке, только там краткие прилагательные употреблялись значительно чаще, чем теперь. Они не только изменялись по родам и числам, но и склонялись (например, в мужском роде):

И. *добръ молодец*
Р. *добра молодца*
Д. *добру молодцу*
И т. д.

Сравните застывшие, превратившиеся в устойчивые сочетания: *по белу свету, на босу ногу, средь бела дня, мал мала меньше* и др. Надо еще сказать, что в женском роде краткие прилагательные оканчивались на *а* (*добра*), в среднем — на *о* (*добро*). Краткие прилагательные были возможны и в тех случаях, когда теперь употребляем только полные, например: *камень, камена, камено; деревянъ, деревяна, деревяно.* Поэтому и читаем в древнерусских памятниках: *теремъ каменъ, заложиша градъ деревянъ, бе бо уже время зимно* и т. п.

Краткие прилагательные в древности обозначали некоторый общий признак: *добръ молодец* обозначало вообще доброту какого-то молодца (прилагательное *добрый* тогда значило: хороший, подходящий). Если же нужно было указать, что не какой-то вообще, а определенный, известный уже, этот молодец добр, то к краткому прилагательному присоединялось лично-указательное местоимение 3-го лица (о них уже было сказано) *и* (мужской род), *я* (женский род), *е* (средний род). Эти однобуквенные местоимения примерно соответствовали нашим *этот, эта, это.*

Таким образом получалось следующее соответствие:

добръ+и (человек) — 'этот добрый человек'
добра+я (девушка) — 'эта добрая девушка'
добро+е (сердце) — 'это доброе сердце'

Полные прилагательные образовывались:

в мужском роде: *добръ+и=добрый*
в женском роде: *добра+я=добрая*
в среднем роде: *добро+е=доброе*

Так же было и в косвенных падежах:

Р. *добра + его = добраего*
Д. *добру + ему = добруему* и т. д.

Как видим, полные прилагательные образовывались просто, но сам способ был громоздким. Поэтому скоро начались различные фонетические изменения, упрощения. Вместо первоначальных *добраего, синяего, добруему, синюему, добреи, синии* и т. д. стало *доброго, синего, доброму, синему, доброй, синей* и т. д.

Вот что получилось из сложения двух частей речи.

КЕМ РАБОТАЕТ МАМА?

(ответ на письмо)

А письмо было интересное:

«...Я прочитал стихи С. Михалкова «А что у вас?»:

...наша мама
Отправляется в полет,
Потому что наша мама
Называется пилот.

С лесенки ответил Вова:
— Мама — летчик?
Что ж такого!
Вот у Коли, например,
Мама — милиционер.
А у Толи и у Веры
Обе мамы — инженеры.
А у Левы мама — повар... —

и задумался над странной вещью, на которую раньше почему-то не обращал внимания: словами мужского рода *пилот, летчик, милиционер, повар* называют мам, т. е. женщин. Почему мы без затруднений говорим: *учитель — учительница, пионер — пионерка, ткач — ткачиха,* можно

даже сказать *летчик — летчица,* но вот *инженер* — как сказать о женщине: «инженерка», «инженерша», «инженерица»? Не получается. У Пушкина еще равноправны *ткачиха* и *повариха*, а современный поэт уже не пишет *У Левы мама повариха.* Иногда до смешного доходит: мы говорим *дояр — доярка,* но *овчар.* У слова *овчарка* другой смысл. Есть слова *техник, электрик,* но слова *техничка, электричка* не обозначают женщин соответствующей специальности. *Мельница* — это не женщина-мельник, а *мастерица* — не женщина на должности мастера.

Кто читал «Юрту Ворона» И. Ефремова, тот, наверно, помнит разговор старого рабочего Фомина с геологом Александровым.

Фомин насупился, вздохнул и, чтобы перевести разговор, спросил:

— Жена ваша, она тоже геологом работает?

—Да, — улыбнулся Александров, — настоящая геологиня!

— Как это вы сказали — геологиня? — переспросил Фомин.

—Это я выучился называть от студентов. Мне нравится, и, кажется, так правильнее.

—Почему правильнее?

— Да потому, что в царское время у женщин не было профессий и все специальности назывались в мужском роде, для мужчин. Женщинам оставались уменьшительные, я считаю, полупрезрительные названия: курсистка, машинистка, медичка. И до сих пор мы старыми пережитками дышим, говорим: врач, геолог, инженер, агроном. Женщин-специалистов почти столько же, сколько мужчин, и получается языковая бессмыслица: агроном пошла в поле, врач сделала операцию, или приходится добавлять: женщина-врач, женщина-геолог, будто специалист второго сорта, что ли...

— А ведь занятно придумал, Кирилл Григорьевич! Мне в голову не приходило...

— Не я, а молодежь нас учит. У них верное чутье: называют геологиня, агрономиня, докториня, шофериня.

Правильно ли поступают герои повести? И когда язык отразит достигнутое в жизни равноправие полов?

Кроме того, у меня есть ряд конкретных вопросов:

1. Объявляя благодарность женщинам в приказах (даже по случаю 8 Марта), некоторые руководители предприятий пишут: *Объявить благодарность кассиру, продавцу, классному руководителю...* Нельзя ли избежать этого?

2. На одном торжественном собрании чествовали наладчицу цеха и говорили о ней: *Мать, труженик, ком-*

мунист наладчица Иванова... Не лучше ли просто: *труженица, коммунистка?*



На читательской конференции докладчик почти час говорил об авторе, а потом выяснилось, что книгу написала женщина.

3. Удобно ли говорить *врач поставил диагноз* (разумеется, о женщине)? И как быть, если со словом *врач* соединяется фамилия: *врач Петрова поставил* или *поставила диагноз*?

Таких фактов можно привести немало. Не свидетельствуют ли они о некотором несовершенстве или бедности нашего языка?..»

В письме затронута интересная и вместе с тем очень сложная лингвистическая проблема. Сложна она потому, что здесь сталкиваются и противоречиво взаимодействуют различные факторы: смысловые, грамматические (морфолого-синтаксические), словообразовательные и стилистические. В письме тонко отмечено и удачно обозначено одно из распространенных явлений современного русского языка. Сомнения, недоумения и различные предложения в этой связи высказывались давно. Так, еще в середине XIX в. один журналист спрашивал: «Не знаю, почему у нас нет слова *другиня,* т. е. друг женского пола... Это совсем не подруга, подружка, подруженька, которые веют на нас молодостью, и друг — не то, что мужчина. *Другиня...* могло бы быть самым почетным из всех званий женщины и даже девицы... у нас есть женские названия: *княгиня, героиня, богиня* от мужских *князь, герой* и *бог* (языческий). Почему же не быть *другине* от слова *друг?»* Известный журналист и филолог XIX в. Н. Греч в «Чтениях о русском языке» отметил: «Любопытно, что в русском языке имя *друг* употребляется только в мужском роде: видно, старики наши не слишком верили женской дружбе».

Слова типа *другиня* появлялись в разные времена у писателей, например у Пушкина. Слово *геологиня* распространено в среде геологов, его подхватили молодые писатели. Время от времени всплывают иные образо-

вания, и все-таки язык их не принимает — не принимает, казалось бы, вопреки всем разумным доводам. Мы говорим: «Эта доярка — Герой Социалистического Труда», хотя в языке давно уже существует соответствующее слово женского рода — *героиня.* Появились такие обозначения профессий, как *мастер теплового узла* (хотя в языке есть слова *истопник* и *истопница*) и др.

Данное явление обстоятельно стало изучаться лингвистами сравнительно недавно. Да это и понятно: сама проблема возникла только в 20—30-е годы XX в. Социальные внелингвистические причины явления ясны: резкое изменение общественного положения женщин, их широкое участие во всех сферах деятельности, овладение ими огромным количеством ранее исключительно «мужских» профессий. Это не могло не отразиться на языковой системе, поскольку новое содержание требовало для себя новых форм выражения.

В системе языка было три возможности:

1) предписать говорящим строгое грамматическое согласование — *врач пришел* (даже когда речь идет о женщине);

2) предпочесть смысловое согласование — *врач пришла;*

3) воспользоваться суффиксальным словообразованием, найти суффикс, который бы «переводил» слово из мужского рода в женский, т. е. придавал бы слову форму женского рода: *врач*+суффикс женского рода — *пришла.*

Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки, свои «за» и «против».

Первый хорош строгостью формально-грамматического согласования — мужской род существительного и глагола. Плох тем, что содержит смысловое несоответствие: о женщине говорится как о мужчине.

Второй способ устраняет смысловое несоответствие, но оставляет грамматическое — мужской род существительного и женский род глагола. Другими словами, оба способа заключают в себе противоречие между грамматикой и смыслом, между формой и содержанием.

Казалось бы, естественнее всего для обозначения женщин по их профессиям третий путь — путь суффиксального словообразования, тем более что в распоряжении говорящих большой выбор суффиксов: *-к(а) — аспирантка; -иц(а) — буфетчица; -ниц(а) — учительница;*

-их(а) — ткачиха; -ш(а) — кассирша; -н(а) — царевна; -ин(я) — графиня; -есс(а) — поэтесса; -ис(а) — актриса; -ин(а) — кузина и др. И язык как будто пробует, пытается пойти по этому пути. Можно привести десятки слов, образованных с помощью этих суффиксов: *студентка, спортсменка, ударница, пловчиха, музыкантша, геологиня, поэтесса, директриса* и др. Эта тенденция свойственна разговорной речи.

Почему же все-таки на практике — в этом сейчас у языковедов нет сомнения — победил второй способ?

Скажем сначала о недостатках суффиксального способа. Среди «женских» суффиксов много непродуктивных или малопродуктивных, т. е. с их помощью сейчас слова почти (или совсем) не образуются. Можно было, конечно, использовать продуктивные, например *-к(а)* или *-иц(а)*. Но продуктивные суффиксы чрезвычайно многозначны, они образуют названия женщин не только по профессиям: *комсомолка, соседка, пассажирка, динамовка, грузинка, фронтовичка, москвичка, аристократка; певица, страдалица, владычица, полковница* и многие другие. В словах с суффиксами *-ш(а), -их(а)* на первый план выступает значение ‘жена лица, названного мотивирующим словом’: *генеральша, купчиха,* а в словах с суффиксом *-иц(а)* основное значение ‘самка животного’: *медведица, лисица* и т. п. Наконец, почти все суффиксы стилистически окрашены и образуют слова с экспрессивно-стилистической окраской, например сниженной, просторечной: *врачиха, директриса,* или придают слову безвкусную претенциозность: *редактриса, критикесса.* Одним словом, эти суффиксы надо было еще семантически и стилистически приспособить. К тому же ни один из суффиксов не может претендовать на роль абсолютного, годного для всех слов показателя «женской профессии». Как это ни парадоксально, здесь трудно выбрать суффикс именно потому, что суффиксов много, — типичное «затруднение от избытка». Были и другие «внутриязыковые» причины, о которых на страницах этой книги невозможно рассказать. Скажем только, что на протяжении всей истории русского языка в тех случаях, когда возникал конфликт смысла и грамматики, побеждал смысл. Ср., например, слова мужского рода с женскими окончаниями: *воевода, владыка, судья* и др. *Судья пришел,* казалось бы, так же странно, как и *Врач пришла,* но мы привыкли.

Несколько слов о преимуществах второго способа. Грамматико-смысловое противоречие отчасти снимается тем, что мужской род здесь не обусловлен полом. Сама эта категория рода развивается, меняет свой характер. Ведь когда мы говорим *повар* или *врач,* у нас в сознании не обязательно возникает образ мужчины. Мы уже привыкли к этой грамматической условности. *Требуется педагог* — всем понятно, что требуется не обязательно мужчина. Важно и другое: особенность того типа речи, в котором преимущественно эти слова употребляются, — научного и делового функциональных стилей. Герой А. Рыбакова — Крош, рассказывая о своих каникулах, вспоминает: «Я зашел в магазин спортивных товаров. На дверях плакат: «Граждане покупатели, вас обслуживают ученики торговой школы». Правильнее было бы написать «ученицы». Почти все продавщицы в магазине — девушки, довольно хорошенькие». Чем дальше слово от научной и деловой сферы, от книжной речи, чем ближе бытовой сфере, тем вероятнее женское соответствие, и наоборот. Поэтому возможны *спортсменка, пионерка, лыжница* и др. Но нет женского соответствия для слов *автор, академик, министр, ординатор, онколог, социолог, энергетик* и др. Речь не идет о специфически женских профессиях (там нет слов мужского рода): *машинистка, маникюрша, сиделка* и др.

Коротко ответим на вопросы, поставленные в письме.

1. *Кассир, продавец, классный руководитель* — точные обозначения профессий, вполне уместные (и даже законные) в официальной речи, в документе.

2. Мужской род (*труженик, коммунист*) придает высказыванию некоторую торжественность, стилистическую приподнятость. *Труженица, коммунистка* уместны в разговорном, но не в деловом, публицистических стилях.

3. В строгой деловой или научной речи рекомендуется говорить *Врач поставил диагноз,* даже если речь идет о женщине-враче. В случае употребления здесь имени собственного сказуемое согласуется с ним, т. е. *Врач Петрова поставила диагноз.*

4. *Не руководителем, а владычицей* — грамматическое противопоставление дополняет смысловой контраст и усиливает стилистическую выразительность всей фразы. И вообще появление тонких смысловых и стилистических различий у таких форм является не обеднением,

а, напротив, обогащением языка. Непонимание этих различий, предпочтение во всех случаях чего-то одного действительно может вести к обеднению речи.

ТАЙНА ГРАММАТИЧЕСКОГО РОДА

Наши грамматики очень ошиблись, когда отнесли слова *доброта, нежность* и *снисходительность* к женскому роду, а *гнев, сумасшествие* и *каприз* — к мужскому и среднему.

Из альманаха «Цефей»

Шутки шутками, а действительно интересно, почему одни слова мужского рода, а другие — женского и среднего. И почему три рода, а не два и не пять? И почему в одних языках (русский, немецкий) три рода, в других (французский) — два, в третьих (английский) фактически нет ни одного?

Легко сообразить, что слова *жена, мать, сестра* или *муж, отец, брат* распределяются по родам в зависимости от пола, т. е. от того, женщина или мужчина имеется в виду. Но почему *весна* — женского рода, а *лето* — среднего? Почему *дверь* женского, а *окно* — среднего? Род сотен, тысяч слов логически необъясним. Более того, слово женского рода может обозначать и живое существо мужского пола: *лисица, белка, обезьяна, акула* (одно обозначение для самца и самки, тогда как в других случаях разные, ср.: *корова — бык, козел — коза, кот — кошка, медведь — медведица*). И наоборот, словом мужского рода мы называем женщин: *врач, директор, педагог, секретарь.* Одна и та же вещь, один и тот же предмет называется словом то одного, то другого рода; например, *живот* — мужского рода, а *брюхо* — среднего. Одни и те же слова (иногда с изменением значения) бывают разных родов: *зал — зала, жираф — жирафа* (независимо от пола), *скирд — скирда, рельс — рельса.*

Не меньше путаницы и в других языках. В немецком, например, даже слова *женщина (жена)* (das Weib) и *девочка* (das Mädchen) — среднего рода. Наблюдая эти факты, ученые задались вопросом: если слова распределяются по родам так нелогично и так непоследовательно, то какой смысл имеет категория грамматического

рода? И другой вопрос: если некоторые языки легко обходятся без этой категории, то зачем она вообще нужна, как она образовалась? Так возникла необходимость обратиться к истокам. Но как это сделать?

Археологи обнаруживают остатки древних поселений, раскапывают старые захоронения, находят там различные вещи, которые служили когда-то людям. Эти вещи реальны, конкретны, их можно пощупать, осмотреть, изучить. А где «копать» лингвисту? Правда, у лингвиста есть древние рукописи. Но письменность возникла сравнительно недавно, а как проникнуть сквозь тьму веков, заглянуть в те времена, когда люди не имели письменности (во всяком случае нам о ней ничего не известно)?

Если нет прямых свидетельств, то, возможно, есть косвенные... Взрослый человек может представить, как он говорил в детстве, наблюдая других детей. А что если сравнивать разные языки? Ведь известно, что во многих из них есть общие черты, они могут быть близкими родственниками (как, например, русский и украинский) или дальними (санскрит — язык Древней Индии и английский). Ученые открыли даже родственные связи между отдельными семьями — семьей славянских языков (русский, польский, болгарский и др.), семьей романских (французский, итальянский, испанский и др.). Как распределяются по родам слова других языков? Как употребляются эти слова?

Естественно, что ответы на эти вопросы скорее всего могли дать языки, менее других подвергшиеся позднейшим изменениям. Поэтому ученые и заинтересовались самыми древними из известных нам языков.



Выдающийся французский лингвист конца XIX — начала XX в. Антуан Мейе, используя отчасти наблюдения других лингвистов, обратил внимание на тот факт, что в древних родственных языках стран Европы, Индии, Ирана (индоевропейских) слова различно оформляются, т. е. разделяются на типы, выделяются в две основные группы: в зависимости от

того, рассматриваются предметы, явления как неодушевленные или как одушевленные. Продолжая наблюдения, он установил, что даже один и тот же предмет может быть назван по-разному: то словом класса неодушевленного (средний род), то словом класса одушевленного (мужской или женский род). Причем в таком словоупотреблении была обнаружена строгая последовательность и закономерность.

Так, в священной книге древних индусов Ригведе вода обозначается двумя разными словами: в тех случаях, когда вода рассматривается как вещество, т. е. в нашем обычном понимании (*Корабль плывет по воде*), используется слово среднего рода udán, но как только вода оказывается движущимся, активно действующим предметом, вернее, его олицетворением (*Послушные воды остановились*), поэт пользуется словом женского рода (во множественном числе) — ápaḥ.

В «Илиаде» Гомера (11-я песнь) описывается, как накануне грозной битвы перед полками троянцев

Гектор ходил впереди со щитом, во все стороны равным.
Как приносящая гибель звезда — то, меж туч появляясь,
Ярко сияет, то в тучах тенистых опять исчезает...

Здесь Гектор сравнивается со звездой, которая действует, движется, появляется и исчезает, т. е. является существом активным. И для обозначения ее Гомер использует одушевленное существительное — слово мужского рода aster. Но ведь он мог бы использовать и другое, в его лексике было слово класса неодушевленного (среднего рода) — astron. Оно было широко употребительно, когда речь шла о звездах, понимаемых как материальные небесные тела.

Показательно, что существительное мужского рода aster, всегда обозначавшее движущуюся звезду, переводится не только как 'звезда', но и как 'метеор, метеорит'. Кроме того, это слово может иметь также и определенный мистический смысл — 'небесное знамение', тогда как astron вполне материально: это и 'звезда', и вообще 'небесное светило'. Поэтому в выражении, скажем, *идти по звездам* употреблялось именно второе слово.

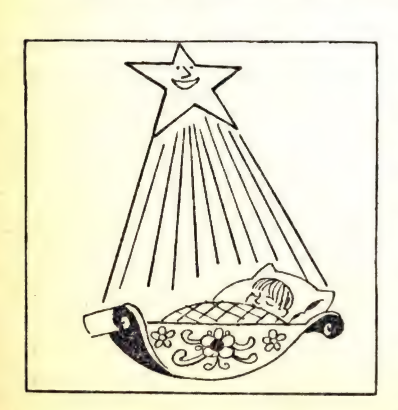
«Следовательно, — рассуждал А. Мейе, — в зависимости от того, как рассматривался один и тот же предмет — как вещь или как существо, способное действовать, — он мог получать два обозначения, одно — среднего рода, другое — одного из одушевленных родов

(мужского или женского)... Это значит, что понимание тела как нечто материального (аналогичное современному цивилизованному пониманию) противополагается взгляду совершенно иному, согласно которому предметы и явления природы оказываются выражением внутренних сил, подобно тем, которые движут животными и людьми; представления о них сливались с религиозными представлениями, и этим силам приписывалось нечто божественное».

Звезды в разное время года меняют свое местоположение в небесном пространстве, ими руководствовались не только при определении сухопутных и морских маршрутов, но и при определении жизненных путей отдельных людей и целых народов. Выражений, так или иначе связанных со звездами (вроде *родиться под счастливой звездой)*, немало в любом языке. И в соответствии с таким духовно-мистическим пониманием звезды одушевлялись: почти во всех языках слово *звезда* мужского рода или женского рода (т. е. по древней классификации слово относилось к классу одушевленных слов).

Подтверждают ли выдвинутое предположение другие слова? В тех же языках, где вода олицетворяется и где поэтому для обозначения ее обязателен один из родов одушевленного класса, обнаружились аналогичные воззрения и на огонь. Особенно интересен тот факт, что известное еще по мифам, по народным сказаниям противопоставление (или сопоставление) воды и огня отразилось и в языке: во многих языках *вода* — женского рода, *огонь* — мужского.

Обожествление огня было характерно для всех народов мира (хорошо известно, какое большое значение имел огонь для древнего человека). Почитание огня отразилось и в мифологических рассказах об огненном змее, об огненной птице, жар-птице, в обожествлении огня-молнии (культ Перуна у наших предков); огонь сопровождал бесчисленное множество самых разнообразных ритуалов. Это в особенности показательно



для Древней Индии, где огонь — Агни стал одним из главных божеств.

Заметим, что в тех странах, где господствовало материалистическое миропонимание, как, например, в Древней Греции, названия воды, огня и т. п. оказываются неодушевленными (среднего рода); у тех же народов, где сильны были религиозные взгляды на мир, как в Индии или в Древнем Риме, формы класса одушевленного обязательно берут верх, причем такие языки характеризуются также противопоставлением женского рода мужскому.

Одушевлялось, обожествлялось все то, перед чем человек был бессилен, что казалось ему неведомым, что играло большую роль в его жизни. И это могли быть не только грозные явления природы. Обожествлялся, скажем, сон — эта могущественная сила, подчиняющая человека своей власти. До сих пор живет выражение *в объятиях Морфея* (Морфей — бог сна у древних греков; отсюда слово *морфий*). Понятно поэтому, что слово *сон* в большинстве языков — мужского рода. А вот *сновидение* всегда было среднего рода. Когда в «Илиаде» Зевс вызывает Сон и посылает его к Агамемнону, Гомер использует слово мужского рода oneiros, а не слово onar (среднего рода).

Подобно паре *огонь — вода,* лингвисты отметили ряд других противопоставлений, например *день* (мужской род) — *ночь* (женский род), характерное для многих индоевропейских языков. Религиозно-мистический характер санскритского (санскрит — язык Древней Индии) обозначения света, дня вне всякого сомнения. Недаром Юпитер для римлян прежде всего бог света. Его называли Люцетиус (Светодающий). Мистический характер ночи ощущался еще сильнее. Слова, обозначающие ночь, повсюду женского рода. В многочисленных сказаниях именно ночью действует нечистая сила; об этом же свидетельствует и поговорка: *Не к ночи будь помянуто* и др.

Названия деревьев (особенно плодовых) в индоевропейских языках были женского рода, названия плодов — среднего (дерево рассматривалось как нечто рождающее, подчеркивалось женское начало). Так, в латинском языке название грушевого дерева — женского рода, а плода груши — среднего рода. Аналогичный пример в русском языке: *яблоня — яблоко.* Вообще, в русском

языке, кроме слов *дерево* и *растение*, нет других названий деревьев среднего рода (обобщающее родовое слово противопоставлено конкретным видам, которые одушевляются).

В разных языках противопоставлялись обозначения луны и солнца. Мужское начало солнца открывается нам в его имени (мужского рода) в Древней Руси — Дажьбог. Дажьбог — сын Сварога. В одном из древних текстов читаем: *Солнце царь сынъ Свароговъ еже есть Дажьбогъ*. Наконец, нельзя не заметить, что в большинстве языков слово *земля* — женского рода, тогда как *небо* — обычно мужского. Небу приписывалось мужское начало, земле — женское, производящее, рождающее. Во множестве сказаний, песен, пословиц *мать сыра земля* противопоставляется *небу-батюшке*.

Любопытно, что в ряде языков, которые в глубокой древности были родственными, близкими, которые восходят к одному праязыку, названиями ребенка служат существительные среднего рода (ср. немецкое das Kind, русское — *дитя*), причем резко расходящиеся между собой. Это свидетельствует об их позднем образовании в сравнении с такими словами, как *отец, мать, сын* и *дочь*.

Это было убедительно показано О. Н. Трубачевым, который отметил: «Причина их относительно позднего оформления заключается в том, что используемая при этом форма среднего рода в более древние эпохи не могла обозначать живых существ, поскольку смысл ее существования состоял в обозначении всего неодушевленного в противоположность одушевленному. Общие названия «ребенок, дитя» могли, таким образом, возникнуть лишь позже, при известном ослаблении этого противопоставления. Однако названная специфика среднего рода сохранилась в индоевропейских языках... до настоящего времени в остаточном виде. Вследствие этого общий термин «ребенок», выраженный существительными среднего рода, остался по своей природе противоречивым. Вполне вероятно, что именно этим объясняются ограничения в употреблении этого термина, который относят обычно только к малолетним потомкам, младенцам, в то время как для более старших возрастов противоречие между формой среднего рода и одушевленностью обозначаемого становится уже нетерпимым».

В самом деле, иначе трудно объяснить существование

слова *дитя:* ведь пол ребенка устанавливается легко и сразу. И, строго говоря, логично было бы иметь в языке два различающихся по родам слова: одно для младенца мужского пола, другое — для младенца женского пола. Любопытно, что и слова *младенец, ребенок* могут относиться и к мальчикам, и к девочкам.

Таким образом, «бессмысленная», казалось бы, в наше время категория рода является пережитком старых религиозных воззрений. Выдающийся советский лингвист академик В. В. Виноградов писал по этому поводу: «У подавляющего большинства имен существительных, у тех, которые не обозначают лиц и животных, форма рода нам представляется немотивированной, бессодержательной. Она кажется пережитком давних эпох, остатком многоязыкового строя, когда в делении имен на грамматические классы отражалась свойственная той стадии мышления классификация вещей, лиц и явлений действительности».

Факт родовой принадлежности слова в обычной речи безразличен для говорящих, но в поэтической речи он предопределяет характер образа (олицетворения, сравнения). Так, у С. Есенина («Пороша»):

...Словно белою косынкой
Подвязалася сосна.
Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку...—

образ задан женским родом слова *сосна.* Будь *сосна* в русском языке мужского рода, все было бы иначе. Вот обычные для поэта образы: *Березки! Девушки-березки!* или *Пригорюнились девушки-ели...* С тем же постоянством нежное, пышное и яркое дерево — клен — представлено (из-за мужского рода слова) *как пьяный сторож.*

Иногда силу образу придает подчеркивание несоответствия грамматического рода и пола. Так, в замечательной народной песне о Горе:

А и лыком Горе подпоясалось,
Мочалами ноги изопутаны.
А я от Горя в темны леса —
А Горе прежде в лес зашел;
А я от Горя в почестной пир —
А Горе зашел, впереди сидит...

живую образность, поэтичность песне придают не только

выражения *темны леса, ноги изопутаны, почестной пир,* но и олицетворение Горя в мужском роде.

Ясно, что в разных языках род соответствующих слов может быть различным, поэтому при переводе стихотворений нередко разрушается или видоизменяется образный строй (а следовательно, и содержание). Академик Л. В. Щерба о стихотворении Лермонтова «На севере диком стоит одиноко...» (перевод из Г. Гейне, заметим, что в немецком языке сосна — Fichtenbaum — мужского рода) писал: «Для образа, созданного Лермонтовым, сосна ...не совсем годится, между тем как для Гейне ботаническая порода дерева совершенно не важна, что доказывается, между прочим, тем, что другие русские переводчики перевели Fichtenbaum *кедром* (Тютчев, Фет, Майков), а другие даже *дубом* (Вейнберг). Зато совершенно очевидно уже из этих переводов, что мужской род... не случаен. Лермонтов женским родом сосны отнял у образа всю его любовную устремленность и превратил сильную мужскую любовь в прекраснодушные мечты».

У Пушкина в переводе поэмы «Конрад Валенрод» (точнее, вступления) А. Мицкевича есть такие строки:

И всяк, переступивший воды,
Лишен был жизни иль свободы.
Лишь хмель литовских берегов,
Немецкой тополью плененный,
Через реку, меж тростников,
Переправлялся дерзновенный,
Брегов противных достигал
И друга нежно обнимал.

Примечательна здесь старая грамматическая форма — женский род слова *тополь.* У Пушкина мы встречаем обе формы этого слова (и мужской, и женский род). Подобные варианты есть и в современном языке (например, *зал — зала*). Устаревшие формы сейчас в изданиях произведений Пушкина иногда заменяются, но эту форму «исправить» нельзя. Дело в том, что у Пушкина в данном случае женский род слова *тополь* противопоставлен мужскому роду слова *хмель.* Грамматические формы получают символический смысл.

Пушкин намеренно сохраняет образный строй стихов Мицкевича (*тополь* — в польском языке женского рода).

Н. Асеев, который также переводил поэму, не обратил, видимо, внимания на родовую особенность слова *тополь* или не захотел с ней считаться. Он перевел:

Лишь ветка литовского дикого хмеля
К любимому тополю прусского края,
К заветной стремилась за Неманом цели.

Этот перевод, так сказать, буквальнее: у Мицкевича так и сказано — *ветка литовского хмеля,* но образное представление оказалось разрушенным (женский род слова *ветка* не спасает положения). Так одна грамматическая особенность оказывается весьма существенной и для перевода, и для понимания поэтического текста.

ПОСТОЯННЫЙ ПОИСК

ДВА ГЛАВНЫХ ПАРАДОКСА ЛИНГВИСТИКИ

(Неизвестная страница путешествия в Лагадо)

I.

Прошло уже несколько дней с тех пор, как Мьюноди, пользуясь своим высоким положением, добился для Лемюэля Гулливера разрешения посещать Великую Академию. Ректор Академии оказал ему благосклонный прием и препоручил путешественника одному из главных прожектеров.

Они уже побывали у изобретателя, который восемь лет разрабатывал проект извлечения солнечных лучей из огурцов, познакомились с ученым, занятым пережиганием льда в порох, побывали в сельскохозяйственном, астрономическом, математическом отделах. Сегодня они были приглашены в отделение языкознания. Хотя Гулливер свободно владел местным наречием, он на всякий случай захватил справочник по культуре речи.

В отделении проходила зональная ученая конференция, где заседали три профессора. Гулливер стал с любопытством прислушиваться к речам. Один предлагал проект сокращения разговорной речи путем сведения многосложных слов к односложным и упразднения глаголов и причастий, так как в действительности все мыслимые вещи суть только имена. Заместитель главного прожектера, сопровождавший Гулливера, шепнул ему, что докладчик — творчески ищущая личность — раньше предлагал более радикальный проект: он требовал полного уничтожения всех слов, ссылаясь на пользу для здоровья и сбережение времени. «Ведь очевидно, — рассуждал он, — что каждое произносимое нами слово сопряжено с некоторым изнашиванием легких и, следовательно, приводит к сокращению нашей жизни. А так как слова суть только названия вещей, то автор проекта высказывает предположение, что для нас будет гораздо удобнее носить при себе вещи, необходимые для выражения наших мыслей и желаний. Это изобретение, благодаря его большим удобствам и пользе для здоровья,

по всей вероятности, получило бы широкое распространение, если бы женщины не пригрозили поднять восстание, требуя, чтобы языку их была предоставлена полная воля...»

— Но разве удобно заменять слова вещами? — удивился Гулливер.

— Единственным неудобством является то обстоятельство, что в случае необходимости вести пространный разговор на разнообразные темы собеседникам приходится таскать на плечах большой узел с вещами. Но зато великим преимуществом этого изобретения является то, что им можно пользоваться как всемирным языком, понятным для всех цивилизованных наций.

Гулливер вспомнил, что этим методом он сам пользовался в разговоре.

В это время был объявлен перерыв. Заместитель главного прожектера обратился к собравшимся: «Уважаемые коллеги, позвольте представить вам нашего гостя, иностранного туриста мистера Гулливера, известного этнографа, знатока многих языков. Мистер Гулливер в большой милости у королевы Бробдингнега».

Не зная, с чего начать разговор, Гулливер вдруг вспомнил знакомого журналиста и спросил: «Над чем работают ученые?»

— Совместно с электронно-техническим отделом мы разрабатываем проект карманного диктографа. Этот прибор преобразует устную речь в письменную, точнее — осуществляет письменную фиксацию устной речи.

— У нас его называют магнитофоном, — заметил Гулливер.

— Нет, диктограф — иное. Он заменяет машинистку: вы говорите и получаете отпечатанный на бума́ге текст, — возразил один из профессоров. — Аппарат может быть использован и для записи чужой речи, например при слушании лекций.

Заинтересовавшись состоянием дел, Гулливер узнал, что с технической стороны все легко и просто, а главное — грамматика. Наша речь состоит из предложений. Аппарат должен улавливать предложения, а не отдельные слова, иначе получается бессмыслица. Но для этого необходимо четко, логически строго сформулировать, что такое предложение. Гулливер не мог скрыть своего удивления: ведь это так просто! Кто же этого не знает? Потрясенные его эрудицией, профессора попросили дру-

га королевы Бробдингнега открыть им великую научную тайну — дать определение предложения.

— Предложение, — начал уверенно Гулливер, — это сочетание слов, выражающее законченную мысль.

— Как мудро и просто! — восхитились языковеды. — Сэр, вопрос можно будет окончательно решить, если только вы объясните, что такое «мысль» и «законченная мысль». Эти два термина не вполне ясны.

— Точно определить эти термины я несколько затрудняюсь, — смутился Гулливер, — но я поясню это вам на примерах. Допустим я говорю: «Друг приехал». Мысль ясна и закончена. Значит, это предложение.

— Так ли, коллега, — возразил один из профессоров (Гулливеру сразу не понравился его пронзительный взгляд). — Мысль, если то, что вы произнесли, можно назвать мыслью, легко продолжить; мне, например, неясно, чей друг, куда приехал, когда, зачем, на чем приехал, откуда приехал и т. д.

«Каруд, лёсо!» — выругался про себя Гулливер на языке блефуску, но понял, что в самом деле мысль *Друг приехал* нельзя считать законченной, если можно сказать *Мой друг приехал вчера в Лагадо*. Впрочем, и последнее высказывание можно развернуть — и так далее до бесконечности. Все молчаливо и заинтересованно смотрели на знаменитого интуриста. Надо было что-то сказать, и Гулливер прервал молчание:

— Предложение — это сочетание подлежащего и сказуемого, а также зависимых от них слов.

И вновь пронзительный взгляд потребовал объяснения терминов: подлежащее и сказуемое. Гулливер стал растолковывать: в предложении есть два самостоятельных главных члена, от которых зависят все остальные, т. е. второстепенные члены; один главный член — подлежащее — обозначает предмет речи, т. е. то, о чем говорится в предложении; другой — сказуемое — обозначает то, что сообщается об этом предмете. Например, в моем предложении слово *друг* — подлежащее, а о нем говорится, что он *приехал* — это сказуемое. Главные члены можно дополнить второстепенными, тогда получится распространенное предложение. «К тому же, — спохватился друг королевы, — надо знать, что подлежащее должно стоять в именительном падеже (оно чаще всего бывает выражено существительным), а в роли сказуемого может быть не только глагол, но и любая знаме-

нательная часть речи при наличии глагольной связки. Впрочем, глагол в неопределенной форме бывает и подлежащим, и сказуемым».

Один из профессоров, все время упорно смотревший в потолок, с которого, как думал Гулливер, он и брал свои знания, стал вдруг рассуждать вслух, и Гулливеру сначала показалось, что он нашел союзника: «Если сказать *Наш друг отличается глубокой ученостью,* то существительное в именительном падеже *друг* — подлежащее, а *отличается* — сказуемое. В предложении говорится про друга — это субъект речи, и сообщается о некоторых признаках или качествах этого субъекта». Он запустил в слушателей еще несколько ученых слов, а Гулливер радостно кивал головой. Внимательно разглядывая трещины на потолке, профессор продолжал: «А если мы скажем — *Нашего друга отличает глубокая ученость,* — то субъектом по-прежнему окажется *наш друг*, но слово уже не стоит в именительном падеже. Или мы должны считать подлежащим *ученость,* хотя главное, о чем говорится в предложении — это *наш друг.* Здесь какое-то противоречие». Гулливер никак не ожидал подобного предательства. Он только собирался растолковать потолочному созерцателю, что грамматика, естественно, учитывает прежде всего грамматические показатели, что поэтому подлежащее в данном случае *ученость,* как его сбил пронзительный взгляд: «Коллега, а где главные члены в предложениях: *Ученостью меня не обморочишь; Учености и в помине нет; Нам не до учености; Нашему другу за пятьдесят; Кругом ни звука?..* Где подлежащее, где сказуемое? Где именительный падеж, а где глагол?..»

Интурист совершенно растерялся и хотел было уже позорно бежать, как неожиданно на помощь к нему пришел третий профессор. Этот профессор оказался вовсе и не профессор, вернее профессор, но не «он», а «она». Можно было бы сказать «профессорша», но «профессорша» — это жена профессора, а жена профессора, профессорша, может и не быть профессором. Озабоченный поиском подходящего названия, Гулливер не услышал начала. Профессорица, или профессоресса, строго и четко произнося слова, просила коллегу согласиться с тем, что есть безличные предложения, что в безличных предложениях безличный главный член выражается безличным глаголом с безличным содержанием и безличной формой. Глядя на профессорессу внимательнее, Гулли-

вер догадался, почему не сразу приметил в ней женщину: не только общий облик, но и лицо ее были безличны. Сверкая очками, она убеждала, что есть не только безличные предложения, но и неопределенно-личные, обобщенно-личные, номинативные и иные. Например, *Светает*. Это безличное предложение. Не кто-то или что-то светает, а просто светает, без лица, без субъекта. Или *Не спится*. И тоже лица, подлежащего, не требуется.

Страсти явно накалялись. Пронзительный взгляд сделался еще пронзительнее и позволил себе неслыханную бестактность: «Вы ошибаетесь, уважаемая коллега, — сказал он. — *Не спится* — всегда предполагает личность, а если не личность, то лицо. Если говорят *Не спится*, то из контекста обязательно явствует, кому не спится. А если неясно, то непременно будет специально указано: мне не спится, или ему не спится, или Саше, или Маше. *Мне не спится* — это совершенно то же, что и *Я не могу спать (уснуть)*. *Темнеет* — что? *Небо темнеет*. *Пахнет черемухой* — безличное, а ведь это совершенно то же, что *Черемуха пахнет*. *Жаль его огорчать* — безличное? А кому жаль? — *мне жаль*, а *я* — это лицо. Разве не все равно сказать: *Я тоскую, У меня тоска, Мне тоскливо*. А вы, коллега, будете доказывать, что в первом есть подлежащее, а во втором и третьем нет (безличные). Вопреки всякой логике. Вопреки здравому смыслу. А стоит только допустить, что подлежащее возможно не только в именительном падеже, как все станет на место».

— Наоборот, тогда-то все окончательно и запутается, — прочитал на потолке его приятель, помолчал и продолжал: — Здравый смысл хорошо, но должна быть еще здравая грамматика. А грамматике нужно непременно опираться на какие-то формы, на четкие признаки. Возьмем, к примеру, так называемые неопределенно-личные предложения. В них нет подлежащего, а глагол в форме третьего лица множественного числа обозначает, что действие совершается неопределенными лицами — *Говорят, что...* А кто говорит — неясно. *В книгах пишут...* — А кто конкретно пишет, я не знаю, сказано неопределенно. Однако вот ведь какая хитрая вещь выходит: допустим, я говорю — *Мне только что сообщили приятную новость*. По грамматическим признакам — неопределенно-личное предложение, а по су-

ти — определенное: ведь сообщили м н е, сообщили с е й ч а с, и я не могу не знать, кто сообщил. Или такой пример. Вчера в столовой мой друг вышел позвонить и предупредил: «Позови меня, когда подадут суп». Замечаете — *подадут* — неопределенно, да еще во множественном числе. А ведь он не хуже моего знает, что в столовой одна подавальщица, не только вполне определенная, а хорошо ему знакомая. Но ведь сказано правильно! Вот и посуди тут — определенно-личное или неопределенное. И уж вовсе ничего я не понимаю в таких случаях: скажем, мать кричит ребенку: *Перестань шалить! Кому говорят!* Вот это самое *Кому говорят!* — неопределенно-личное, если верить грамматике. А какая же тут неопределенность, если такое высказывание всегда принадлежит говорящему? *Кому говорят!* или *Говорят тебе!* всегда значит: *Я говорю тебе, Я прошу тебя.*

В крайнем удивлении перед такой загадкой он опустил глаза вниз, но затем вновь стал разглядывать потолок. Никто не понял, куда он клонит. Все молчали. Наконец, заговорила профессоресса, заговорила голосом, напоминавшим звук разбитой чашки:

— Предложение есть всегда, когда налицо сообщение о факте, когда сочетание слов сообщает, говоря точнее, когда имеет место коммуникация (Гулливер едва устоял на ногах от этого сверхученого слова). К примеру, возьмем пять звуков: [п] — [о] — [ж] — [а] — [р]. Звуки как звуки. Возьмем слово *пожар* — что-то обозначает, но ни о чем не сообщает, коммуникации нет. А если я превращу посредством соответствующей интонации это обычное слово в предложение...

И тут она неожиданно резко, как будто ножом по стеклу, возопила: «Пожар!» Двери залы с шумом отворились, и в аудиторию влетело несколько человек: «Где?», «Что?», «Где горит?»

Профессоресса с удовлетворением закончила: «Коммуникация есть!»

— А как, коллега, — не унимался пронзительный взгляд, — Вы будете рассматривать отдельные слова в таком, например, употреблении: *Ночь. Пожар. Приятно согревающий свет из окон. Громкие кличи...?*

— Ничего необычного в Вашем примере нет, — дребезжала разбитая чашка. — Это ряд предложений, утверждающих наличие, существование предмета или явления. *Ночь* — наличие ночи. *Пожар* — существование

пожара. Кстати, эти два предложения — я их называю номинативными — нераспространенные, а два следующих — распространенные. Главный член в них — существительное в именительном падеже.

— Подлежащее?

— Нет, сказуемое.

— А может быть, подлежащее, а сказуемое опущено, потому что настоящее время? Ведь в прошедшем — *Была ночь.*

— Все равно это сказуемое: именное составное.

Тут все зашумели, одни кричали «подлежащее», другие «сказуемое». Владелец пронзительного взгляда быстро задавал вопросы, его оппонентка быстро отвечала пронзительным голосом: *«Тишина* — нераспространенное номинативное?» — «Да». — *«Тишина вокруг?»* — «Распространенное». — *«Тишина на улице?»* — «Распространенное номинативное». — *«На улице — тишина?»* — «Двусоставное, если и подлежащее и сказуемое». — «Причина такого изменения?» — «Порядок слов». — «Значит, если сказать *Дом горит* или *Горит дом,* то изменится характер предложения?» — «Нет, не значит, интонация! *На улице — тишина.* Другая интонация». — «Значит, синтаксическая природа предложения зависит от интонации?» — «Нет, не зависит!» — *«Старик»?* — «Односоставное». — *«Старик в тулупе»?* — «То же, добавление слов не изменяет тип предложения». — *«Старик уже в тулупе».* — «Это другое дело, здесь и подлежащее и сказуемое». — *«Большой дом»?* — «Односоставное». — *«Дом большой»?* — «То же, что *дом был большой:* двусоставное, есть и подлежащее и сказуемое». — «Значит, *Дом стоит* — двусоставное, а *Стоит дом* — односоставное?» — «Нет, не значит».

Вокруг шумели. Гулливер вспомнил споры лилипутов и блефускуанцев по яичной проблеме. Голова у него шла кругом. Заместитель главного прожектера успокаивал собравшихся и предоставил слово потолочному созерцателю, который, не спеша, стал рассуждать:

— Есть случаи, когда не знаешь, чему отдать предпочтение — смыслу или грамматической форме. Например, предложения типа *Дело идет к развязке* или *Дело было осенью* по форме как будто двусоставные, с подлежащим и сказуемым, а по сути они односоставные. *Речь идет о..., Дело идет о..., Речь, Дело* — это слова, которые как бы лишились смысла, то есть лексического

смысла, а не грамматического. *Задача оказывается сложной* — просто значит 'задача сложна', а *оказывается* — чисто грамматический показатель. *Злость берет* — можете вы сказать, что здесь значит *берет,* определить значение этого слова? Или такое предложение: *Дружба — вещь святая.* Что здесь значит слово *вещь*? Ничего не значит. Или: *Он человек умный.* Подлежащее *он.* Что про него говорится? Что он человек? Нет, говорится, что он умный; а слово *человек* играет роль связки, какой-то вспомогательной грамматической формы. Возьму такие примеры: *Наш друг — добрый человек, Наш друг отличается добротой, Нашему другу свойственна доброта* — а все это значит 'Наш друг — добр'. А слова *человек, отличается, свойственна* ничего к смыслу высказывания не прибавляют.

Ведь вот никто же не скажет, что глагол *лежать* значит то же, что *стоять. Друг лежит* — это одно, а *друг стоит* — другое. И тем не менее все равно сказать *туман лежит над городом, туман стоит над городом* и даже *висит над городом.* Если можно и так и этак, если эти слова здесь взаимозаменяемы, значит, они ничего не значат, т. е. можно сказать обозначают, что туман есть, находится, наличествует, так сказать.

Его никто не перебивал, так как совершенно неясно было, к чему он клонит. Но он никуда не клонил, просто у него была такая манера вести разговор. Вообще-то это было очень удобно, так как никто ему не возражал и в споре он, таким образом, оказывался победителем. Взгляд его неожиданно скользнул вниз:

— Вот я могу сказать сейчас: *В зале много народу.* Можно ли определить характер этого предложения? С одной стороны, вы можете утверждать, что оно двусоставное, т. е. состоит из подлежащего *(много народу)* и сказуемого *(в зале),* но, с другой стороны, *в зале* можно считать второстепенным членом, обстоятельством места, а все предложение окажется тогда безличным. И это легко доказать, стоит добавить: *В зале много народу и душно. Много народу* и *душно* однородные члены, но, разумеется, не подлежащие, а сказуемые.

Он пустился в еще более отвлеченные рассуждения, так что Гулливер окончательно потерял нить мысли, а только слышал «с одной стороны», «с другой стороны...». Гулливер отошел в другой конец зала. Там тоже спорили. Худощавый блондин решал «глобальную проб-

лему». Он доказывал, что отношения слов в грамматике точно отражают отношения людей в обществе. «Это неизбежно, — говорил он, — так как язык — общественное, социальное явление. Возьмем для примера любой язык, пусть нам почти неизвестный». И он спросил Гулливера: «С Луны свалился?» — «Нет, я из Европы», — с трудом выговорил Гулливер. «Вот видите, — торжествующе произнес швейцар. — А что мы находим в известных нам языках Европы? Сложные глагольные времена там образуются посредством двух вспомогательных глаголов *быть* или *иметь*. А ведь глаголы обозначают действия людей. К чему направлены эти действия? Одни стремятся к «быть», другие — к «иметь». Конечно, большинство стремится «иметь», и только меньшинство стремится «быть». Но ведь недаром это меньшинство называют «сильными глаголами». Это, как правило, глаголы движения, глаголы общественного движения, прогресса. Быть, а не иметь — вот их цель».

Гулливер еле-еле освободился от него и пошел бродить по коридору.

II.

В одной из комнат он увидел человека, очень похожего на настоящего ученого, — он был в очках и очень рассеян. Гулливер узнал в нем того профессора, который на конференции говорил о сокращении слов. Поздоровавшись, Гулливер спросил профессора, — что называется словом.

— Вот проблема, которою мы сейчас заняты.

— Но кто же этого не знает? Ведь это так просто! — удивился Гулливер. — Слово — это единица языка, которая служит для обозначения понятия, для передачи понятия.

— Далеко не всегда, — возразил ученый. — Например, собственные имена не передают понятий. С другой стороны, если следовать такому определению, то выражение *геометрическая фигура, ограниченная тремя взаимно пересекающимися прямыми, образующими три внутренних угла* должно быть признано за одно слово, так как оно выражает одно понятие и равно слову *треугольник*.

— Верно, верно, *понятие* не годится. Лучше скажем — *значение*. Тогда определение слова будет выгля-

деть так: словами являются звуки речи в их значениях. Или так: всякий звук речи, имеющий в языке значение отдельно от других звуков, являющихся словами, есть слово. Слова бывают короткие, даже из одного звука — [и] или [с], а бывают длинные — *премногоуважаемый.*

— Все это очень туманно и неопределенно, — не согласился ученый. — «Значение» в языке имеет все: корень — это тоже ряд звуков, имеющих значение, и суффикс — это звук или ряд звуков, имеющих значение. В языке все значимо и все осмысленно.

— А если мы сформулируем определение таким образом: слово — это, во-первых, то, что называет, и, во-вторых, имеет определенные фонетические признаки и легко выделяется в предложении. Каково?

— Увы! Это мы уже пробовали. Оказалось, что, во-первых, не каждое слово называет: *ох, над, бы* и многие другие выпали; во-вторых, слова не так-то легко вычленяются в связной речи, об этом говорят частые ошибки на письме малограмотных, которые, например, *может быть* пишут слитно; да и устойчивых фонетических признаков слово не имеет.

— Я думаю, что главное все-таки в том, что слова употребляются отдельно, а части слов самостоятельно не живут. Например, возьмем *домик,* слово *домик. Дом* можно сказать и без *-ик,* а само по себе *-ик,* просто *-ик* не бывает, в речи не встречается.

— Но тогда предлоги и союзы — не слова. Ведь предлог без существительного не употребляется. Попросите любого школьника сосчитать слова в предложении *Дуб стоял позади дома,* и он вам ответит, что здесь четыре слова. Или: *Около дуба...* — два слова.

— Или: *Посредством лопат вырыли яму* — четыре слова, хотя *посредством* — предлог.

— Сразу видно, что вы иностранец, — улыбнулся профессор. — *Посредством лопат...* — плохо сказано. Но дело, конечно, не в этом. Надо, чтобы диктограф понимал, что *посредством* — одно слово, а не два — *по* и *средство.* А еще есть такие слова, как *времяисчисление.* Это одно слово, пишется слитно, а части его *время* и *исчисление* могут быть сами словами. Или *семяпочка* — тоже одно слово, а части его *семя* и *почка* тоже полноправные слова.

— Меня весьма удивляют некоторые подобные фак-

ты в вашем языке, — заметил Гулливер. — Почему вы пишете во фразе *уехал за границу* все три слова отдельно, т. е. *за* считаете отдельным словом (и точно так же: *был за границей*), а в сочетании *торговля с заграницей* считаете *за* приставкой и пишете слитно, т. е. образуете одно слово — *заграница?* Я часто думаю также, почему *подмышки* — одно слово, т. е. *под* — приставка, пишется слитно, а если сказать: *держал под мышкой,* то *под* как бы предлог и пишется отдельно.

Профессор рассмеялся. Гулливер заметил: «Когда я только начинал учить ваш язык, я спрашивал, почему *квас* пишется слитно, а *к вам* отдельно, и люди смеялись. Теперь я понимаю, чему они смеялись, а вот чему вы смеетесь, понять пока не могу».

Профессор помолчал, затем сказал:

— Я прежде думал, что нашел вспомогательную закономерность: между словами можно вставить другие слова, а между частями слов ничего вставить нельзя. Но скоро увидел, что и между частями слова можно поместить другие части. Вот я вам приведу такой пример. *Дева* — здесь две части. *Дев-* и *-а* (окончание), а между ними я могу вставить *-иц-: девица* или *-ушк-: девушка.* Или *-очк-: девочка.* Другие примеры: *никто* и *ни к кому, некому* и *не у кого.* Один великий лингвист по поводу фразы *Глухой глухого звал на суд судьи глухого* писал, что каждый готов найти здесь семь или шесть (если *на суд* считать за одно целое) слов. Но, с другой стороны, *глухой, глухого* воспринимаются как формы одного и того же слова. Вот и решайте, что такое слово! Когда другого великого академика спросили, что такое слово, он воскликнул: «В самом деле, что такое «слово»? Мне думается, что в разных языках это будет поразному. Из этого собственно следует, что понятия «слово вообще» не существует!» Ему было легко так говорить, он не занимался диктографом.

— Я придумал! — обрадованно возопил Гулливер. — Универсальное, всеобщее и окончательное правило: слова сочетаются только со словами, а части слов только с частями. Нельзя сказать: «красная дев-», т. е. нельзя соединить целое слово с частью другого слова, даже если эта часть — корень. Это правило позволит диктографу легко отделить слова и неслова.

— Хорошо придумано... только... — ученый вновь погрустнел, — только аппарат должен тогда уже знать, что

такое слово, а что такое часть слова. Мы же ему этого еще не сказали.

— Забудем диктограф, — сказал Гулливер.

— Но дело даже не в диктографе. Эту проблему решают ежедневно все школьники. Ученики все время спрашивают, как писать, слитно или раздельно, т. е. в одно слово или в два: *вечнозеленый, засухоустойчивый, первобытнообщинный.* Они задумываются над тем, почему в выражении *густонаселенные районы* прилагательное пишется слитно, а если сказать: *густо населенные бедняками районы,* то *густо* пишется отдельно: получается то одно, то два слова. А как писать *(скоро) портящиеся (летом) продукты,* как писать: *(абсолютно) необходимые сведения, (жизненно) важное решение, (строго) логический вывод?* Еще больше хлопот с наречиями. Приходится соблюдать особую осторожность: *вдвое* и *по двое, сыграть вничью, на глазок, наполовину, с разбегу, в упор...*

Профессор пытался закурить, но тщетно: по рассеянности он поджигал трубку с другого конца. Гулливер помог ему и заметил, что, по-видимому, проблема определения слова так и не будет решена.

— Нет, почему же, — возразил профессор, — есть обнадеживающие результаты исследований зарубежных лингвистов. Для меня представляется особенно интересным феномен известного лингвиста Панова. Он вывел очень важную языковую закономерность, которую можно было бы сформулировать следующим образом: «Если в сочетании, состоящем из единиц АБ, смысловой элемент А не встречается в других единствах, то он теряет свое отдельное значение, свою индивидуальную семантичность, обессмысливается и сплавляется с другими в неразложимое фразеологическое целое. Если же смысловой элемент А существует в незамкнутом ряде сочетаний: АБ, АВ, АГ... то А полностью всю свою качественную определенность выявляет. Наконец, промежуточный случай очень важный:



если элемент А встречается в немногих сочетаниях, если ряд их замкнут, то значение А не сведено к нулю, но и не является вполне и точно определенным».

— Ничего не понимаю, — чистосердечно признался Гулливер.

— Вот как объясняет этот закон сам ученый. Вы, вероятно, знаете уже такие выражения, как *не видно ни зги, у черта на куличках.* Что такое *не видно, у черта* знают все. А вот слова *зга, кулички* — бессмысленны, значения их неизвестны.

— А я где-то слышал, — возразил Гулливер, — что *зга* когда-то значило 'дорога', а *кулички* — 'лесные поляны', кажется.

— Возможно. Но ведь это-то и показательно: полноценные, полнозначные когда-то слова обессмыслились. Понятно, что мы не знаем значений многих старых слов, которые забыты и сейчас не употребляются; но ведь эти слова мы употребляем. Но поскольку мы их употребляем только в одном единстве, в одном сочетании, то они и теряют свое значение. Смысл имеет целое сочетание, идиома, как мы называем. Вот скажите мне, что такое *стречок?*

— Не *стречок,* а *стручок.* Это бывает такой длинный и узкий плод с горошинками у некоторых растений.

— Нет, я не ошибся. Именно *стречок.* Не знаете? А зато выражение «дать стречка» вам, наверняка, известно. Значение глагола *дать* вы, конечно, хорошо знаете. И почему знаете? Потому что встречали множество разных сочетаний с этим глаголом. А вот других сочетаний со *стречком* вам не попадалось. Так ведь? Это два крайних случая — однократная сочетаемость и многократная. Теперь разберем промежуточный случай: слово встречается в ограниченном числе сочетаний. Например, мы говорим: *страх берет. Берет* здесь как будто имеет значение 'охватывать' (глагол *брать* здесь не совсем обычен, не то, что в выражении *брать книгу).* Можно сказать в том же смысле: *тоска берет, зависть берет, сомненье берет.* Но нельзя сказать «радость берет», «гнев берет», сочетать тот же глагол с другими существительными — *удивление, удовольствие, упрямство* и т. д. Хотя сравните: *Его охватил гнев.*

Профессор в рассеянности стряхнул пепел с трубки себе в карман и задумчиво продолжал:

— В наших словарях значение глагола *потупить* опи-

сывается таким образом: «*Потупить* — опустить в раздумье или под влиянием стыда, смущения». Это и так, и не так. Если бы это было так, то мы не могли бы сказать *Она потупила взор*. Но если бы это было так, то мы могли бы сказать «Собака потупила хвост» (виновато опустила). Объяснение в том, что глагол *потупить* сочетается только со словами *голова, глаза, взор, взгляд*. Мало того — потупить их может только человек, причем чаще всего — молодой человек, даже девушка, молодая женщина. Можно говорить, что эти сочетания также идиоматичны, это своего рода фразеологизмы. А в подобных сочетаниях значения отдельных частей утрачиваются. Смысл целого не складывается из суммы «смысловых кусочков», целое не столько определяется частями, сколько определяет их, всегда больше их. Это совершенно очевидно, если вспомнить любой как будто конкретный фразеологизм, например: *надуть губы, махнуть рукой, держать камень за пазухой, взять быка за рога*. Даже в них. А чего говорить про *собаку съел* или *бить баклуши*.

— А как же вы объясните такие идиомы, как *втирать очки?* Ведь и слово *очки* всем известно и употребительно в разных сочетаниях, и слово *втирать* или, может быть, *протирать?*

— А вы, однако, забавный молодой человек, — протянул ученый. — Выражение *втирать очки* не имеет никакого отношения к этой штуке (он снял с носа очки и показал их собеседнику). Это выражение возникло в среде игроков в карты. *Очко* — это значок на игральной карте, указывающий на ее масть. А *втирали очки* мошенники, обманщики, которые пользовались так называемыми порошковыми картами.

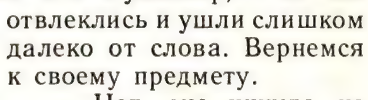
Слово *собака* все знают. Но смысл его в выражении *собаку съел* — загадка. Тут другая собака.

Затем, взяв с полки понравившийся ему ученый труд, профессор стал приводить оттуда разные примеры. Вот некоторые думают, что в устойчивом наименовании *белый медведь* прилагательное такое же, как и в сочетаниях *белая бумага, белый снег*. Но ведь оно обозначает не только цвет, но и другие признаки медведя. *Белый* медведь — это совсем не медведь белого цвета или с белой шерстью. Это — медведь Севера, живущий во льдах, умеющий плавать, питающийся рыбой. И все эти признаки появляются у медведя только тогда, когда мы

присоединяем к нему слово *белый*. Но ведь слово *белый* не значит ‘северный’, ‘умеющий плавать’. Этих признаков нет ни у «белого», ни у «медведя», но они есть у *белого медведя*. Таковы все идиоматизмы — особый смысл и устойчивость. Синонимические замены, перестановки исключаются. Из сочетания *у него денег куры не клюют* нельзя сделать, казалось бы, синонимическое *куры у него не клюют денег*. Они ни у кого не клюют денег. Вы чувствуете, как от изменения порядка слов вдруг получается как бы буквальный смысл? В выражении *из мухи делать слона* нельзя глагол *делать* заменить глаголом *изготовить;* слово *муха* нельзя заменить словом *таракан*.

Гулливер осторожно засмеялся. Игра ему понравилась. Почесав в затылке, где у него находился центр «острого ума», он подхватил: говорят еще про немузыкального человека — *ему медведь на ухо наступил,* но если сказать *медведь ему наступил на ухо*, то можно подумать, что речь идет про неудачливого охотника. Смешно, если сказать *делить шкуру и мясо неубитого медведя* или *взять корову за рога* (вместо *быка за рога*). Юмористы этим часто пользуются. Была у нас замечательная пьеса, герой которой хотел выглядеть образованным, часто вставлял в свою речь «крылатые слова», но при этом безбожно ошибался. Он, например, говорил: «Не боги на горшках сидят», «Пуганая корова на куст садится». Смешно было.

Гулливер очень хотел рассмешить профессора, но тот не смеялся, а в рассеянности обрывал пуговицы.

— Профессор, — остановил его Гулливер, — но мы

отвлеклись и ушли слишком далеко от слова. Вернемся к своему предмету.



— Нет, мы никуда не ходили (Гулливер было подумал, что профессор по рассеянности понял его буквально, но, как оказалось, опасения его были напрасны). Мы все время обсуждаем проблему «слова». Я теперь уверен, что основное свойство слова — идиоматичность. Слово —

произведение значимых элементов, целое всегда значит больше, чем сумма смыслов отдельных его частей (как и у фразеологизмов), перестановки, видоизменения частей, как правило, невозможны. Вот я вам прочитаю:

Если вы знаете значение слова *ворота* и суффикса *-ник,* скажите, что может значить слово *воротник?*

— *Воротник?* — удивился Гулливер. — Я думаю, сторож у ворот.

— А что может значить слово *подписчик?*

— Вероятно, это большой начальник, который подписывает разные бумаги? А может быть, это тот, кто подделывает чужую подпись? Или человек, делающий надписи к картинкам?

— Сейчас в нашем языке оно обозначает человека, имеющего подписку на какое-нибудь печатное издание. Но вы недалеки от истины; в древние времена глагол *подписать* имел два основных значения: 1) украсить живописью, изукрасить; 2) скрепить подписью. Соответственный смысл имело и слово *подписчик.* Так, в частности, называли свидетеля, скрепляющего своей подписью документ, сделку, тяжбу. Слово *подписчик* существовало задолго до появления прессы. Видите, смысл слова нельзя с точностью установить, даже если знать значение его частей. На этой основе можно дать точное определение слова.

— Значит, скоро появится диктограф? Проблема будет решена?

— До окончательного решения проблемы еще далеко. Я не знаю, что делать с такими сочетаниями, как *железная дорога, дом отдыха.* Они устойчивы, идиоматичны. Но ведь состоят из двух слов? Или это одно слово?

В это время разговор их был прерван заместителем главного прожектера, который везде разыскивал потерявшегося интуриста.

Приложение для дотошных читателей:

1. Определения слова

«Слова... — это смысловые единства, части которых не составляют свободного сочетания» (М. В. Панов).

«Основными признаками слова как лингвистической единицы в целом являются следующие: 1) фонетиче-

ская оформленность, 2) семантическая валентность, 3) непроницаемость, 4) недвуударность, 5) лексико-грамматическая отнесенность, 6) постоянство звучания и значения, 7) воспроизводимость, 8) цельность и единооформленность, 9) преимущественное употребление в сочетаниях слов, 10) изолируемость, 11) номинативность, 12) фразеологичность» (Н. М. Шанский).

«Слово — это единица наименования, характеризующаяся цельнооформленностью (фонетической и грамматической) и идиоматичностью» (Д. Н. Шмелев).

II. Определения предложения

«Предложение — это грамматически оформленная по законам данного языка целостная (т. е. неделимая далее на речевые единицы с теми же основными структурными признаками) единица речи, являющаяся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли» (В. В. Виноградов).

«Предложение — одна из основных категорий синтаксиса, противопоставляемая слову и словосочетанию по формальной организации, языковому значению и функциям... В узком, собственно грамматическом смысле — это особая синтаксическая конструкция, имеющая в основе своего построения грамматический образец и специально предназначенная для того, чтобы быть сообщением» (Н. Ю. Шведова).

СКОЛЬКО ЧАСТЕЙ РЕЧИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ?

Правдин (взяв книгу). Вижу. Это грамматика. Что ж вы в ней знаете?

Митрофан. Много. Существительна да прилагательна...

Правдин. Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное?

Митрофан. Дверь, котора дверь?

Правдин. Котора дверь? Вот эта.

Митрофан. Эта? Прилагательна.

Правдин. Почему же?

Митрофан. Потому что она приложена к своему месту. Вот у

чулана шеста неделя дверь стоит еще не повешена: так та покамест существительна.

Стародум. Так поэтому у тебя слово *дурак* прилагательное, потому что оно прилагается к глупому человеку.

Митрофан. И ведомо.

(Д. И. Фонвизин. Недоросль).

Сейчас любой школьник, наверное, без труда отличит прилагательное от существительного. Например, *зелень листьев — зеленые листья.* Смысл один, но *зелень* — существительное, хотя и обозначает цвет, а *зеленые* — прилагательное. Что их отличает? Формальные признаки, особое оформление слова. У прилагательных свои окончания. *Золото волос* — слово *золото* определяет предмет, указывает на его качество, цвет, как прилагательное, но по форме слова оно существительное. *Посуда из серебра* — то же самое, что *серебряная посуда,* но части речи разные. *Быстрота* — существительное, *быстрый* — прилагательное, также и *белизна — белый, смелость — смелый* и т. п.

Или, например, *больной...* Впрочем, здесь уже не так все просто, и не каждый школьник при грамматическом разборе сразу сообразит, в чем дело. И мы уже готовы спросить: «Котора дверь?», т. е. «Какой больной?» Просто *больной* или *больной человек?* У слов *военный, рабочий, ученый* и т. п. все, как у прилагательных, но они могут быть и существительными. Выходит, одно слово может быть и прилагательным, и существительным.

Всякое слово кажется простым, пока мы не заглядываем в него поглубже. Вполне обычно слово *пропасть* — существительное женского рода. Но живой язык и здесь задает нелегкие задачи. Вот три примера из классической литературы: 1. *Направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки* (М. Ю. Лермонтов). 2. *Я нашила пропасть, да после траура все еще не решаюсь щеголять-то* (А. Н. Островский). 3. *— Тьфу пропасть! — говорит она, и тот дурак, кто слушает людских всех врак* (И. А. Крылов).

С первым предложением все просто. *Пропасть,* как указывается в словаре, означает: ‘глубокая, отвесная впадина на земной поверхности...’ Во втором предложе-

нии слово *пропасть* не только изменило смысл (приобрело значение множества), это уже и не существительное. А что же — числительное? Наречие? В третьем предложении оно вообще не имеет как будто никакого значения, а просто оказывается восклицанием, выражающим досаду, раздражение, неудовольствие, другими словами, междометием.

Но, может быть, это редчайшие случаи в языке, когда существительное не является существительным? Не такие уж редкие. В примерах: *Строгость — вещь хорошая, Дело было вечером, Воспитание — важный вопрос* — слова *дело, вещь, вопрос,* как говорят лингвисты, «лексически опустошены». Они выполняют функции указательных местоимений. Нужно ли говорить о сотнях, тысячах случаев, представляющих для нас столько трудностей на письме: *без толку* и *бестолковый, из дали* и *издали, со зла, сзади, до упаду* и *дотемна, навстречу* и *на встречу* и др.

И такие «переходы», противоречия характерны не только для существительных. Попробуем решить проблему двух *ах* у Пушкина. Впрочем, кажется, что *ах* всегда *ах* — междометие, очень уж оно просто и определенно. В III главе «Евгения Онегина» описывается, как Татьяна ждет Евгения:

И между тем душа в ней ныла,
И слез был полон томный взор.
Вдруг топот!.. кровь ее застыла.
Вот ближе! скачут... и на двор
Евгений! «Ах!» — и легче тени
Татьяна прыг в другие сени...

Ах! — это вскрикнула Татьяна. Здесь *ах* — междометие.

Второй случай как будто ничем не отличается от первого. В V главе, в описании сна Татьяны:

Но вдруг сугроб зашевелился,
И кто ж из-под него явился?
Большой, взъерошенный медведь;
Татьяна ах! а он реветь...

Академик Л. В. Щерба в отношении этого *ах!* писал: «Для меня *ах* относится к Татьяне и является глаголом, а вовсе не междометием». Да, оно обозначает действие, так же как и *прыг* в предыдущем примере.

Ученые, выделяя классы, группы слов и формы, стараются наиболее полно и точно описать структуры языка, но взгляды ученых меняются, наука развивается. Мы привыкаем к определенным классификациям, однако это условное деление; абсолютно строгое и четкое разграничение провести не всегда возможно: слова могут переходить из одной части речи в другую, в одних и тех же классах слов обнаруживаются грамматические признаки разных частей речи, границы между ними неустойчивые. Может быть, это недостаток языка? Нет, как уже отмечалось, это признак высокого развития языка, его способности выражать тончайшие оттенки мысли, это грамматическая основа гибкости языка.

Академик В. В. Виноградов начал свой капитальный труд «Русский язык. Грамматическое учение о слове» с известного высказывания: «Два дела особенно трудны — это писать словарь и грамматику».

А трудностей действительно много. Уж на что, казалось бы, ясная и определенная вещь — имя числительное! Но и здесь много противоречивых суждений. Трудности и противоречия начинаются буквально с самого начала, с числительного *один*. Я написал — числительного, а ведь это одна из возможных точек зрения. Другие лингвисты считают *один* прилагательным, третьи — местоименным прилагательным. И для этого есть серьезные основания: слово *один* обладает рядом таких грамматических признаков, которыми характеризуются прилагательные и которых нет у числительных. Многие лингвисты исключили числительные из разряда частей речи, распределили их отчасти среди имен существительных (например, *пять* — тот же тип, что *лошадь*), отчасти среди имен прилагательных (например, *пятый* — тот же тип, что *красный*). Даже ученый-лингвист А. П. Боголепов, написавший в защиту числительных прекрасную статью «Пропавшая часть речи», не считал *один* числительным, так как *один* «не обозначает число как совокупность однородных предметов, а обозначает только один предмет». Более того, по мнению А. П. Боголепова, «в своем значении оно оказывается даже лишним в языке: ведь сказать *один стол* и просто *стол* в смысле обозначения единичности названного предмета — одно и то же...» Конечно, значение единичности обозначаемого предмета выражается единственным числом существительных. Как же так, ведь 1 — это первая цифра,

основная цифра? Но и здесь, отвечал А. П. Боголепов, слово *один* оказывается лишним, мы обходимся без него. Для обозначения цифры 1 употребляется слово *единица*. А разве не с него начинается счет?

А. П. Боголепов возражал: «При счете вместо *один* мы чаще говорим *раз*, так что ряд счетных слов у нас установился в таком виде: *раз, два, три* и т. д.; это в отвлеченном счете; а при конкретном мы просто начинаем счет с названия считаемого предмета, и постоянно можно наблюдать детей, которые в игре производят счет шагов так: *шаг, два, три* и т. д., или крестьян, считающих: *мера, две, три* и т. д. Так что и здесь можно обойтись без слова *один*».

Это все еще спор в области смысла и назначения слова; мы не говорили о главных, собственно грамматических, формальных особенностях слова. Так вот, если внимательно проанализировать формы слова *один*, то его никак нельзя отнести к группе числительных. Начнем с того, что слово *один* имеет формы рода: *один, одна, одно*. Вопреки всякой логике *один* имеет формы множественного числа. При таком нелогичном поведении оно, естественно, выскакивает из круга своего значения, не обозначает число. *В саду одни яблони* значит 'только яблони. Это не числительное, а частица. Склоняется один не как все числительные, а как местоимения (*сам, тот, этот*): *одного — этого, одному — этому* и т. д.

Впрочем, и по значению *один* часто напоминает неопределенные местоимения: *встретил одного человека* значит 'какого-то человека', встретил 'кого-то'. Итак, что же такое *один* — числительное, прилагательное, местоимение, частица? Ответ на этот вопрос непосредственно связан с практикой: орфографией, правильной устной речью.

В числительных немало трудных случаев, когда не знаешь, как сказать, как написать. Например, что выбрать: *с тысячью рублями, с тысячей рублей, с тысячью рублей, с тысячей рублями?* «С пятью рублей» — так мы не говорим.

Но когда слово *тысяча* стоит в творительном падеже, а существительное в родительном, есть веские основания не считать слово *тысяча* числительным. А чем же? Конечно, существительным. Как и все существительные, слово *тысяча* имеет не только категорию падежа, но и категории числа и рода. Легко возразить: но ведь оно

обозначает число, и если мы *один* при счете можем заменить словом *раз,* то тысяча ничем не заменяется. Слово *тысяча* имеет числовое значение, и уже этого достаточно, чтобы отнести его к числительным. Достаточно ли? Тогда к числительным придется отнести и такие слова, как *пара, десяток, дюжина, сотня.* А что сказать в отношении слов *треть, четверть, двойка, пятерка, десятина, пяток* и др.? К тому же есть еще группа слов, обозначающих неопределенно большое количество чего-нибудь: *пропасть, масса, бездна, уйма* и т. д. Вопрос не так прост, как кажется.

А. П. Боголепов в названной выше статье так писал о словах *тысяча, миллион, миллиард:* «Системе форм у этих слов и их употреблению соответствует их значение, так как слова *тысяча, миллион* и т. п. обозначают не просто количество, а данное количество как единицу счета, следовательно, как предмет; тысячи и миллионы мы можем считать так же легко, как луковицы и огурцы: одна луковица — одна тысяча, две луковицы — две тысячи, пять луковиц — пять тысяч и т. д.; один миллион — один огурец, два миллиона — два огурца, пять миллионов — пять огурцов и т. д.».

Разобравшись в особенностях числительных, мы легко поймем, почему вопреки очевидной, казалось бы, логике глагол в предложении *В обсуждении принял участие 41 человек* стоит в единственном числе. Вот если бы речь шла о 39, 40 или 46, 48 участниках, глагол, как ему и положено в сочетаниях с числительным, стоял бы во множественном числе. Другой пример: *За один день выставку осмотрела тысяча человек.* А если миллион? Глагол тоже будет стоять в единственном числе. Тот, кто незнаком с особенностями числительных, обязательно будет стараться в таких случаях употребить множественное число. Он будет руководствоваться здравым смыслом, прибегнет к аналогиям (сочетаниям глагола с другими числительными) — и ошибется.

Сопоставьте два слова: *десять* и *десяток.* Нельзя сказать «два десять», «пять десять», зато свободно мы говорим *два десятка, пять десятков,* потому что *десяток* — существительное, а *десять* — числительное. Числительные не предметы, а абстрактные числовые обозначения, и их нельзя считать, как луковицы или огурцы.

Кроме того, есть еще так называемые порядковые числительные. Почему «так называемые»? Да потому,

что многие лингвисты считают их не числительными, а прилагательными. Обычно бойцами, воинами являются мужчины. Но если женщина одета в военную форму и несет военную службу, разве ее нельзя считать бойцом, воином, солдатом? Подобно этому и порядковые числительные «носят» форму прилагательных и ничем не отличаются от них в своем поведении. Конечно, порядковые числительные прямо соотносятся с соответствующими количественными (*пять — пятый, шесть — шестой*). «Считать *третий, четвертый, пятый, шестой* и другие порядковые определения числительными, — писал В. В. Виноградов, — то же самое, что находить в относительных прилагательных *вчерашний, сегодняшний, завтрашний, послезавтрашний* и т. п. наречия времени или отглагольные прилагательные на *-лый* (типа *полинялый*) называть глаголами прошедшего времени». Форма здесь сильнее значения. Если бы при выделении частей речи мы учитывали только значение слова, то никогда бы не выпутались из противоречий.

В самом деле, *пять — пятый* так же соотносятся, как *тишь — тихий*. Не считаем мы числительными и слова *двойной, тройной, двойственный, двоякий* и др.

Кроме того, есть группа неопределенно-количественных... вот только трудно сказать чего — числительных, наречий или даже прилагательных: *несколько, мало, много, немного* и др.

Кроме того, есть... но, вероятно, уже достаточно о числительных. Впрочем, необходимо заметить, что многое может быть объяснено исторически. Известный историк русского языка В. В. Иванов пишет: «Особенностью древнерусского языка по сравнению с современным было отсутствие числительных как особой части речи, которая есть в современном русском языке (речь идет о количественных числительных). Это не значит, что в языке не было слов, выражающих числовые понятия. Дело не в этом, а в том, что числительные не выделялись в особый грамматический класс со своими только им присущими категориями. Числительные до *четырех* по грамматическим своим свойствам сближались с прилагательными, а с *пяти* — с существительными».

Понятно, что если в этой как будто математически строгой, определенной и лингвистически относительно простой категории столько неопределенного и противоречивого, то что уж говорить о других частях речи! Если

какие-то группы слов можно с равными (или почти) основаниями относить то к одной, то к другой категории, то, естественно, возникает вопрос: какие же критерии считать необходимыми и достаточными для распределения слов по частям речи? И как следствие другой вопрос: а сколько вообще частей речи в нашем языке?

Академик Л. В. Щерба в известной статье «О частях речи в русском языке» рассуждал: если мы данное слово относим к какому-то классу, к какой-то категории, то «само собой разумеется, что должны быть какие-то внешние выразители этих категорий». Внешние выразители, или, точнее, формальные признаки, могут быть весьма различными: окончания, суффиксы, приставки, а также интонация, ударение, порядок слов и др. «В фразе *Когда вы приехали?* ударение на *когда* определяет его как наречие, а отсутствие ударения в фразе *Когда вы приехали, было еще светло* определяет его как союз».

Но ведь один и тот же формальный признак может характеризовать разные категории: например, окончание *-а* в слове *вода* выражает именительный падеж существительного женского рода, а в слове *стола* — родительный мужского. Форма одна (*-а*), а значения разные. Следовательно, важно учитывать не только форму, но и значение, причем не лексическое, а грамматическое (скажем, в существительных — значение предметности, то самое значение, которое позволяет нам даже действия, качества (*бег, доброта*) представлять, мыслить как предметы; разные значения, выражаемые падежными формами, значения лица, наклонения, и др.).

Здесь, как и всегда, форма неразрывно связана с содержанием. Академик Л. В. Щерба так формулирует этот основной закон грамматики: «Существование всякой грамматической категории обусловливается тесной, неразрывной связью ее смысла и всех ее формальных признаков».

Определив критерии, Л. В. Щерба попытался распределить слова по группам, по так называемым «частям речи». Прежде всего он выделил «очень неясную и туманную категорию междометий». Междометия очень различны. С восклицаниями *ах! ох! ура! эге! чу!* все просто. А что такое *горе! ужас! глупости!* — существительное или междометие? А как отнестись к обычным в разговоре *брось, валяй, давай?* Повелительное наклонение? А целые предложения: *Вот те раз! Была не была!*

Вот так клюква! Ведь это цельные, устойчивые выражения, смысл их не складывается из значений отдельных слов, он оказывается не суммой, а, так сказать, произведением составляющих предложение элементов. И передает оно чувства, эмоции говорящего. Но, с другой стороны, новая сложность: если в предложении выражаются чувства, значит, оно междометие? Разве *Как хороши, как свежи были розы!* — тоже междометие?

Основной признак междометия — его обособленность, отсутствие связи с другими словами. Далее в той же работе называются слова знаменательные — существительные, прилагательные, глаголы и т. п. — и служебные.

Для тех, кто усвоил школьную грамматику, в классификации Л. В. Щербы много неожиданного. Так, ученый относит к «словам количественным», т. е. числительным, слова типа *много, мало*.

Причастия, которые обычно признаются глагольными формами, Л. В. Щерба заносит в разряд прилагательных, а деепричастия — в разряд наречий. И вот на каком основании. Известно, что причастия совмещают в себе признаки глагола и прилагательного. Большинство грамматистов считает, что причастие, сохраняя основные глагольные категории — залог, вид, время, теснее связано с глаголом. Но какие признаки сильнее, прочнее в причастии — признаки глагола или прилагательного? По мнению Л. В. Щербы, признаки глагола как бы временны в причастии, они могут исчезать, утрачиваться, тогда как признаки прилагательного устойчивы. Точно так же и деепричастие нередко теряет глагольность и легко превращается в простое наречие.

Л. В. Щерба считает неправильным распространенное определение глагола как части речи, которая выражает действие или состояние предмета. В глаголе «основным значением является только действие, а вовсе не состояние». Состояние выражает другая часть речи — категория состояния (так назвал ее Л. В. Щерба), это слова *нельзя, можно, должен, рад, готов* и др. Из этого определения глагола следовало, что связка *быть* не глагол, «потому что она не имеет значения действия». Она вообще незнаменательна. И ученый отнес связки к словам служебным и выделил их, как и предлоги, союзы, в особую группу, в особую часть речи.

Таким образом, Л. В. Щерба выделил четырнадцать частей речи, четырнадцать основных групп слов. А если

подключить сюда претендентов на право называться самостоятельной частью речи (почему, например, не считать самостоятельными частями речи причастие и деепричастие? Потому что они совмещают признаки других частей речи? А разве наречие или местоимение не отличаются тем же? А частицы, приставки?), то, как отметил академик В. В. Виноградов, «число частей речи в русском языке перешагнет за двадцать». И продолжал: «Но с той же легкостью, с какой растет число частей речи в грамматических теориях одних лингвистов, оно убывает в концепции других».

Действительно, из выделяемых обычно грамматикой десяти частей речи числительные и местоимения легко распределяются между существительными, прилагательными и наречиями (например, количественные числительные часто относили к существительным, порядковые — к прилагательным; местоимения *кто, кто-то, никто* и др. имеют много общего с существительными, а местоимения *мой, наш, какой, никакой* и др. в грамматическом отношении почти ничем не отличаются от прилагательных). Так остается только восемь частей речи, но очевидна неравнозначность оставшихся групп слов.

Строго говоря, едва ли правомерно несамостоятельные, незначительные, вспомогательные слова возводить в ранг частей речи. Например, предлоги. Сами они обычно ничего не значат, указывают на отношения между словами, существуют они только благодаря существительному, на них даже не падает ударение! Претензии их на высокое звание части речи, их стремление стать в один ряд с существительными совершенно неоправданны. У приставки не меньше прав и достоинств, чем у предлога, однако она не считается самостоятельной частью речи.

Не пора ли исключить служебные слова и междометия из числа частей речи? В 30-е годы XX в. выдающийся французский лингвист Ж. Вандриес писал в книге «Язык»: «Классифицировать части речи настолько трудно, что до сих пор никто удовлетворительной классификации их не создал. По традиции, восходящей к греческим логикам, французская классическая грамматика различает их десять. Но эта классификация не выдерживает критики: ее трудно было применить даже к языкам, для которых она была создана; но еще труднее применить ее к языкам, к которым она совсем не под-

ходит. Исследуя ее глубже, мы приходим к необходимости ее исправить».

И как раз больше всего сомнений у Ж. Вандриеса вызывало междометие, та самая категория, которая и Л. В. Щербе представлялась «туманной». Французский ученый предлагал: «Прежде всего надо исключить из частей речи междометие. Как бы ни было велико значение междометия в речи, в нем есть что-то, что его обособляет от других частей речи, оно — явление другого порядка. ...Вообще, оно не имеет ничего общего с морфологией. Оно представляет собой специальную форму речи — речь аффективную, эмоциональную или иногда речь активную, действенную...»

Итак, остались только четыре части речи — существительное, прилагательное, глагол и наречие. Пусть будет мало частей речи, но зато несомненных. Увы, сомнения не кончались. Академик В. В. Виноградов писал в этой связи: «Если лингвистический скептицизм простирается дальше, то подвергается сомнению право наречий на звание самостоятельной части речи. Ведь одни разряды наречий находятся в тесной связи с прилагательными... другие — с существительными, третьи не имеют ярко выраженных морфологических признаков особой категории». Вспомним, как много орфографических ошибок именно в наречиях, — следствие неопределенности этой категории.

Но и между прилагательными и существительными часто нет четких различий. Ж. Вандриес пришел к следующему выводу: «Между ними (прилагательными и существительными. — *В. О.)* нет четкой грамматической границы; их можно соединить в одну категорию — категорию имени. Продолжая этот отбор, мы приходим к тому, что существуют только две части речи — глагол и имя. К ним сводятся все остальные части речи».

История языка свидетельствует, что и генетически (т. е. по происхождению, в своих истоках) существительное и прилагательное близки. Выделять свойства предметов люди научились не сразу. Для этого требуется достаточно высокий уровень мышления, умение абстрагировать признаки. Тогда и возможно появление особой качественной категории в языке — прилагательного. «В связи с тем, что свойства предметов, — пишет В. В. Иванов, — раскрываются через другие предметы, то первоначально названия свойств — это не что иное,

как название тех предметов, которые, с точки зрения говорящего, являются основными носителями этих свойств. Свойство твердого выражается сначала так же, как «камень», красного — как «кровь», голубого — как «небо». Поэтому ясно, что первоначально при развитии определения не могло быть речи об особой категории слов, которые бы выражали признаки предмета, — этим выразителем была все та же категория грамматического имени.

Именно поэтому с точки зрения происхождения все прилагательные были сначала относительными, т. е. производными от какого-то названия предмета, через отношение к которому характеризовались другие предметы. Качественные же прилагательные — это более поздняя и более отвлеченная категория: они возникают уже тогда, когда признак начинает мыслиться отдельно от предмета, когда он начинает мыслиться как таковой».

Обе категории вышли из общей категории имени. Эти следы старых отношений видны в таких словах: *жар-птица, царь-девица, душа-человек* и др.

Сколько все-таки частей речи в русском языке? В 30-е годы XX в. в очень популярной, выдержавшей множество изданий книге А. М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении» выделялись четыре основные части речи — существительное, прилагательное, глагол и наречие. Об остальных категориях было сказано глухо. В капитальном труде В. В. Виноградова «Русский язык» (изд. 1-е — 1947 г., изд. 2-е, посмертное — 1972 г.) категории слов делились на части речи (существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, категория состояния) и частицы речи (частицы в собственном смысле, частицы-связки, предлоги, союзы); кроме того, самостоятельно выделялись две другие категории — модальные слова и междометия. Академическая грамматика 1952—1954 гг. установила десять частей речи: существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, частицы, междометие. Академическая грамматика, вышедшая в 1970 г. под редакцией проф. Н. Ю. Шведовой, сохранила те же части речи. Но эта близость старой и новой грамматик кажущаяся. Сохранив количество разрядов, новая грамматика изменила их состав. Изменения весьма значительны. Так, в разделе местоимений остались только «местоимения-суще-

ствительные» (*он, кто, что, никто, ничто*), а местоимения *мой, твой, наш, какой, который, чей-нибудь, никакой* и др. оказались среди прилагательных. В разряд прилагательных были отнесены порядковые числительные, которые в новой грамматике называются порядковыми прилагательными, бывшее числительное *один* и др.

Двухтомная академическая «Грамматика—80» также выделяет десять частей речи в современном русском языке.

Возможно, в будущих академических грамматиках многое будет расставлено иначе.

Как все просто и хорошо было в школе и как усложняют дело лингвисты! Не лучше ли оставить все по-старому и ничего больше не менять? «Оканчивая свое образование так называемых «частей речи» в русском языке, — писал в заключение своей статьи о частях речи академик Л. В. Щерба, — я начинаю слышать тот стон, который идет из учительских рядов: «Как все это сложно! Неужели все это можно нести в школу? Нам надо бы что-нибудь попроще, поотчетливее, попрактичнее...» К сожалению, жизнь людей не проста, и если мы хотим изучать жизнь, — а язык есть кусочек жизни людей, — то это не может быть просто и схематично. Всякое упрощение, схематизация грозит разойтись с жизнью, а главное, перестает учить наблюдать жизнь и ее факты, перестает учить вдумываться в ее факты».

ГРАММАТИКА И ЯЗЫКОВЫЕ ОШИБКИ

Грамматика не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его обычаи.

А. С. Пушкин

Сколько падежей в нашем языке? Мы неоднократно сталкиваемся с этим вопросом в самых, казалось бы, обыкновенных случаях. Так, при разборе предложения *Я сижу на берегу* перед ученицей возникает чуть ли не неразрешимая задача — определить падеж существительного. Вопрос где? мало помогает. Ученица начинает мысленно (про себя) склонять: *бéрег, бéрега, бéрегу, бéрег, бéрегом, о бéреге* — и отвечает: дательный. Действительно, форма *берегу* ей встретилась только в да-

тельном падеже. На ударение она не обратила внимания и удивилась, когда ей сказали, что это предложный падеж, ведь предложный — *о береге*.

Хотя девочка ошиблась, рассуждала она вполне логично. Как мы определяем падеж? Практически по вопросам. Но если к словосочетанию *мечтал о лете* вопрос о ч е м? закономерен, то к сочетанию *сижу на берегу* вопрос н а ч е м? явно неестествен, а вопрос г д е? не связан обязательно с предложным падежом. По каким же признакам определяют падежи лингвисты? Ясно, что не по вопросам — падежей у нас шесть, а вопросов к словам можно поставить десятки.

Как уже было сказано, для выделения какой-нибудь грамматической категории нужны формальные признаки. Для падежа таким признаком будет окончание: *земля* — именительный падеж, *земл-и* — родительный и т. д. Но этого явно недостаточно, *земл-е* — одно и то же окончание в дательном и предложном; значит, если следовать формальному принципу, здесь один падеж. Зато в творительном два окончания — *-ей* и *-ею* — два падежа? У разных слов разное количество окончаний (например, у слова *путь* — только три).

И.	*стол*	*путь*
Р.	*стола*	*пути*
Д.	*столу*	*пути*
В.	*стол*	*путь*
Т.	*столом*	*путем*
П.	*о столе*	*о пути*

Следовательно, пришлось бы выделить и разное количество падежей.

Окончание — это именно формальный признак падежа, а ведь в каждом явлении, кроме формы, есть еще и содержание. Так в чем же смысл падежей? Сами падежи мы определяем все же не по окончаниям, а по вопросам. Что отражают эти вопросы — к о г о? ч е г о? к е м? ч е м? и т. д. Они указывают на отношение предметов. Например, когда нам нужно указать на принадлежность какой-либо вещи определенному лицу, выразить значение принадлежности, мы используем родительный падеж — *книга брата, проза Пушкина* (кроме того, родительный падеж имеет и другие значения: указание на материал — *мебель красного дерева;* обозначе-

ние лица, обладающего названным свойством, признаком — *смелость солдата, решительность матери* и мн. др.); значение указания на лицо или предмет, к которому направлено действие, несет дательный падеж; выражение прямого объекта — функция винительного падежа. В зависимости от смысла и надо выделять падежи: один смысл — один падеж, другой смысл — другой падеж и т. д. Попробуйте, однако, сами определить смысл, значение какого-нибудь падежа. А какова роль этих смысловых различий? Мы замечаем их в трудных, спорных случаях, когда «грамматические тонкости» мстят нам за пренебрежительное к ним отношение, когда из-за них мы не можем понять смысл высказывания. А. Н. Гвоздев приводит такой пример: *Помощь дивизии пришла вовремя* — дивизия кому-то помогла или, наоборот, она воспользовалась чьей-то помощью? Этот разный смысл обусловлен разными значениями падежей — родительного и дательного. Другой пример: *Он принес письмо матери* — письмо ч ь е? или к о м у?

Более того, разный смысл, разные значения могут быть у одного и того же падежа. Почему нельзя сказать: «Жизнь и ловля пресноводных рыб?» Десятки, сотни подобных словосочетаний не вызывают возражений: *поиски и находки ученых, труд и отдых рабочих* и т. д. Обычно отвечают так: *жизнь рыб* — это они сами живут, сами действуют, а *ловля рыб* — это не они ловят, а их ловят. Можно соединять два словосочетания, когда обозначаются действия, поступки одних и тех же существ. Следовательно, падеж один, а смысл разный. Впрочем, это не так уж редко случается. Вот еще примеры А. Н. Гвоздева: *Преследование тигра окончилось ничем* — тигр преследовал или тигра преследовали? Или: *Рабочему приходилось многое объяснять* — рабочий объяснял или ему объясняли?

Отчасти значение падежа можно вывести из его названия. «Родительный, — отмечал академик В. В. Виноградов, — получил свое имя от того, что он иногда обозначал род, принадлежность, происхождение. Дательный своим названием выражал одну из своих функций... (ср. употребление дательного падежа при глаголе *дать — давать*)». Творительный падеж ввел в 1596 г. один из первых русских грамматиков — Лаврентий Зизаний. Этот падеж связан по значению с глаголом *творить*, делать что-то при помощи какого-нибудь орудия, средства;

поэтому основное значение творительного падежа орудное, инструментальное (*работать топором, молотком* и т. д.). Мелетий Смотрицкий в своей «Грамматике» (1619) дополнил русскую падежную терминологию еще сказательным падежом (ср. *говорить — сказать о чем-нибудь*), который потом Ломоносовым был переименован в предложный.

Идеальный принцип любой грамматической категории (связь смысла и формальных признаков) постоянно нарушается, когда мы имеем дело с категорией падежа. Любой падеж имеет не одно, а несколько значений. Например, наиболее характерно для творительного падежа 'значение орудия или средства, при помощи которого производится действие'. Но, кроме того, есть творительный времени — *днем, вечером* (это совсем не то, что *писать пером*); творительный способа и образа действия — *шагом, боком;* творительный сравнения — *лететь стрелой* и т. д. Так, если исходить из значения, только внутри творительного падежа можно выделить несколько падежей.

Итак, определить число падежей на основе формальных признаков нельзя, так как среди них нет единообразия, на основе смысла — тоже нельзя, так как нет предела для дробления значений. Сколько же падежей? Этот вопрос ставил еще академик А. И. Соболевский, он писал: «Сколько падежей? Ответ на этот вопрос не только труден, но прямо невозможен. Если принять за основание звуковую форму имени... то мы должны будем сказать, что одни имена (например, *кость* — только с 3 разными звуковыми формами единственного числа) имеют меньше всего падежей, чем другие ... и что число падежей неопределенно. Если же принять за основание грамматическое значение... то мы должны будем насчитать большое количество падежей... Тогда, например, форма *хлеба* в разных предложениях (*я взял себе хлеба, мясо лучше хлеба, мягкость — свойство хлеба*) будет представлять три падежа...»

Практически нас устраивают шесть падежей. Это оптимальный вариант, неустойчивая гармония формальных признаков и значений. Выделять, например, творительный пассивных, страдательных оборотов — *Дом строится рабочими* — мы бы не стали, так как у этого особого значения нет своих форм, окончаний. А если для какого-то определенного значения мы найдем особые

формы — разве мы не вправе говорить об отдельном падеже? И это не просто предположение: подобные явления можно найти, подтвердить фактическим анализом языкового материала.

Академик В. В. Виноградов, подводя итог изучению падежей, писал в своей книге «Русский язык»: «В системе современного склонения имен существительных намечается восемь основных падежей: именительный, родительный, количественно-отделительный, дательный, винительный, творительный, местный и изъяснительный — предложный».

Откуда же взялись еще два падежа? Лингвисты обратили внимание на тот факт, что в предложном падеже многие существительные мужского рода имеют разные окончания: *-у(-ю)* или *-е,* например: *танцевать на балу — думать о бале, победить в бою — вспомнить о бое,* а также: *в году — о годе, в долгу — о долге, в краю — о крае, в лесу — о лесе, в саду — о саде, на снегу — о снеге, в (на) шкафу — о шкафе* и т. д. Формальное различие налицо. Различны и значения. Формы на *-у(-ю)* в основном обозначают место, пространство, где что-то находится (местное значение). Формы на *-е* обозначают преимущественно предмет, о котором говорят, думают (изъяснительное значение). Более того, различны и предлоги: местное значение сочетается с предлогами *в, на,* изъяснительное значение — с предлогом *о.* Вот почему в нашем примере со словом *на берегу* ученица не узнала предложный падеж. Многие лингвисты считают, что в современном предложном падеже механически объединены два разных падежа, что нет препятствий для выделения местного падежа, который, как и все остальные падежи, имеет и формальный признак, и специфическое значение. И разве не то же самое мы видим в нашем родительном падеже, где одни и те же слова могут иметь окончание то *-а(-я),* то *-у(-ю): стакан чая — стакан чаю, кусок сахара — кусок сахару,* причем формы на *-у(-ю)* имеют количественно-отделительное (часть целого) значение.

Учитывая все сказанное, мы могли бы, например, так просклонять слово *мед:*

1. Именительный падеж	*мед*
2. Родительный падеж	*меда (вкус меда)*

3. Количественно-отделительный падеж	*меду (попробовать меду)*
4. Дательный падеж	*меду*
5. Винительный падеж	*мед*
6. Творительный падеж	*медом*
7. Местный падеж	*меду́* (*на меду, в меду́*)
8. Изъяснительный падеж	*меде (о меде)*

Не все убеждены в самостоятельности двух новых падежей. Наблюдения показывают, что формы родительного падежа на *-у(-ю)* употребляются все реже, круг существительных с этими окончаниями узок и т. д. Поэтому, наверное, целесообразно сохранить шестипадежную систему, но научиться различать значения падежей.

Академик В. В. Виноградов писал: «Все конструктивные формы имени существительного — формы рода, числа и падежа — основаны на взаимопроникновении грамматических элементов и лексических значений. В имени существительном грамматика не подчиняет себе лексику целиком, а вступает с ней в тесное взаимодействие, как бы не преодолевая сопротивление материала и не вполне его формализуя».

НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ

ИСТИНЫ И ПРЕДРАССУДКИ[1]

(диалог с отступлениями)

Критик. Стремительностью современной жизни сейчас объясняют все: мол, нет времени остановиться, оглянуться, некогда задуматься над тем, как говоришь, над тем, как надо говорить. Вот и портится, и обедняется язык. Послушаешь молодежь — речь бедна, ошибок — пропасть. И вы, лингвисты, ничего не делаете, чтобы поднять культуру речи. Вот на днях встретил группу ребят, говорил с ними о названиях трав — трава и трава, а из каких растений она состоит, не знают. Спросил о птицах — воробей, ласточка, кукушка — и все.

Лингвист. А вы бы их спросили об автомобильных двигателях или радиоприемниках: они рассказали бы больше, чем вы знаете.

Критик. Слышал я их слова — *молоток, железно, предки, девчонки*... Почему нам и в голову не придет назвать Татьяну Ларину девчонкой?

Лингвист. А вспомните в «Евгении Онегине»:

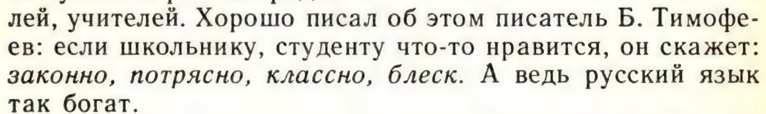
Музы́ка будет полковая!
Полковник сам ее послал.
Какая радость: будет бал!
Девчонки прыгают заране... —



и насмешливое примечание Пушкина к последнему стиху: «Наши критики, верные почитатели прекрасного пола, сильно осуждали неприличие сего стиха». Поэт имел в виду замечание Б. Федорова в «Санкт-Петербургском зрителе» (1828, № 4). Пушкин тогда писал, что

[1] Этот раздел написан на основе обсуждений в печати.

Федоров «выговаривал мне за то, что я барышень благородных и, вероятно, чиновных называл девчонками (что, конечно, неучтиво), между тем как простую деревенскую девку назвал «девою»:



В избушке распевая, дева
Прядет...»

Критик. Вы думаете, только я говорю о словесной шелухе? Спросите родителей, учителей. Хорошо писал об этом писатель Б. Тимофеев: если школьнику, студенту что-то нравится, он скажет: *законно, потрясно, классно, блеск.* А ведь русский язык так богат.

С помощью синонимов можно выразить тончайшие оттенки: *прекрасно, чудесно, восхитительно, великолепно, дивно, отменно, бесподобно, обворожительно, блистательно, волшебно...*

Лингвист. Так вы хотите, чтобы современная молодая девушка говорила: *Я смотрела отменный, обворожительный фильм?* По мне, пусть лучше скажет *потрясный.*

Критик. Так Вам нравится молодежный жаргон?

Лингвист. Нет, не нравится. Я только против крайностей. Вот «Пионерская правда» очень остроумно высмеяла школьный жаргон. В газетном фельетоне рассказывалось, как отбирали для космического полета трех мальчиков. Капитан звездолета спрашивает каждого, как они представляют себе свою задачу после посадки на другую планету.

Один из мальчиков сказал:

— На этой законной посудине шмякнемся на этот шарик, потом, ясное дело, копыта кверху и хвост набок.

— Как, как?

— Ну 'отдохнем, поспим...

— Ясно. Продолжайте.

— А после прошвырнемся к этим лупоглазым потрепаться о культурном контакте...

— Довольно. Следующий.

Первый мальчик не прошел, но и второй оказался не лучше:

— Брякнусь на эту черепушку и сразу же отключусь на отдых. Потом похромаю к шестилапым насчет культурного обмена...

А вот как говорит третий мальчик, речь которого выдается за образец:

— Ракета превосходная, но все равно после посадки нужен отдых для восстановления сил. Потом можно отправляться к местным жителям с предложением культурного сотрудничества...

Не дав этому идеальному оратору кончить, капитан в восторге заявил: «Достаточно. Вы приняты!»

А между тем газетное *нужен отдых для восстановления сил* в устах какого-нибудь семиклассника ничуть не лучше, чем *отключиться на отдых. Отправиться с предложением культурного сотрудничества* — так мог бы говорить дипломат, а не школьник. Выступая против одного, мы впадаем в другую крайность. Жаргон — это детская болезнь. Хуже, если ребята рано заболеют взрослой болезнью, которую К. И. Чуковский назвал канцеляритом, если они станут говорить штампами деловой или газетной речи. Нужно уметь чувствовать и понимать особенности литературно-разговорной речи. А мы нередко под правильной речью понимаем речь, ориентированную исключительно на нормы книжно-письменного языка.

Критик. Болезнь одна — отсутствие речевой культуры; проявляется она по-разному: сначала — жаргон молодежный, потом — жаргон канцелярский. А в итоге, как я и говорил, общее обеднение языка.

Лингвист. У Вас слишком мало данных для такого обобщения. Язык может быть бедным у отдельных людей. Ваш взгляд субъективен.

Критик. Да все дело в том, что таких людей много, а общий язык слагается из языка отдельных людей. А если хотите объективных данных, загляните в словарь «Новые слова и значения». Он издан в 1971 г. На девять десятых словарь состоит из иностранных слов: *аллерген, анид, арболит, клистрон, ралли, фибергласовый, визуальный (зрительный,* стало быть, устарело), *глобальный* (чем это лучше старого *всемирный?*), *дискретный* ('прерывистый'), *инкурабельный больной* (т. е. 'неизлечимый'), *эскалация* ('расширение'), *сенаж.* О словах типа

сенаж писал Б. Тимофеев: «Большинство слов, употребляемых с окончанием на *аж*, — иностранного (главным образом французского) происхождения: *багаж, пейзаж, типаж, пассаж, каботаж, дренаж, плюмаж, саботаж* и т. д.

Русскому языку такое окончание несвойственно. Однако за последние годы появилось слово *подхалимаж* вместо русского *подхалимство* и возникло слово *листаж* вместо *объем книги*. Вот уж смесь «французского с нижегородским»!»

Лингвист. А вот Горький был об этих словах другого мнения: «Процесс освоения иноязычных слов вполне законен тогда, когда чужие слова фонетически сродны освояющему языку. За годы революции нами созданы и освоены десятки чужих слов, например, *листаж, типаж, вираж, монтаж, халтураж...*» (слышите, за годы революции, а не в последнее время!).

Критик. Зачем же так упрощать вопрос — речь идет не об отдельных словах, а о принципе, т. е. о том, на что указывал еще Белинский: «И мы первые скажем, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл и здравый вкус. Так, например, ничего не может быть нелепее и диче, как употребление слова «утрировать» вместо «преувеличивать»...»

Лингвист. А я вам приведу другую цитату: «Пуристы боятся ненужного наводнения иностранных слов: опасение больше чем неосновательное! Ненужное слово никогда не удержится в языке, сколько ни старайтесь ввести его в употребление». Это тоже Белинский. И еще он сказал: «Слово *мокроступы* очень хорошо могло бы выразить понятие, выражаемое совершенно бессмысленным для нас словом *галоши*; но ведь не насильно же заставить целый народ вместо *галоши* говорить *мокроступы*, если он этого не хочет!» И затем Белинский делает вывод: «Какое бы ни было слово, свое или чужое, лишь бы выражало заключенную



в нем мысль, — и если чужое лучше выражает ее, чем свое, давайте чужое, а свое несите в кладовую старого хлама».

Критик. Это запрещенный прием. Вы подменили один вопрос другим. Никто и не хочет заменять такие иностранные слова, которые уже освоены языком: *кровать, свекла, руль* и т. п. Но зачем брать иностранное, когда, если не лениться, можно найти свое?

Лингвист. Вы сами себе противоречите. Хорошо. Я думаю, Вы согласитесь с А. Н. Толстым, который писал: «Известный процент иностранных слов врастает в язык. И в каждом случае инстинкт художника должен определить эту меру иностранных слов, их необходимость. Лучше говорить «лифт», чем «самоподымальщик», «телефон», чем «дальнеразговорня», но там, где можно, найти коренное русское слово — нужно его находить». Что же касается словаря новых слов, то, во-первых, там есть и русские. Во-вторых, почти все иностранные слова — это термины.

Критик. А почему считается, что раз термин, значит, должно быть иностранное слово? Чем плохи русские термины *резец, маховик, осадок, топливо, паяльник, зажигание, шатун, датчик* и сотни других. Ведь сумели же мы заменить «аэроплан» *самолетом*, а «геликоптер» *вертолетом*. Русское *спутник* стало международным. Ведь нашли же мы прекрасное слово *тягач*, а могли бы взять какой-нибудь «трекер».

Лингвист. Конечно, термин не обязательно должен быть иностранным словом, но все же чаще всего так. Вы не задумывались, почему это происходит?

Критик. Из-за умственной лени и незнания родного языка.



Лингвист. Нет, вопрос гораздо сложнее. Вот что пишет писатель Б. Тимофеев, на которого Вы ссылались, о словосочетании *бумажный лом*: «Словосочетание, составленное по аналогии с *железным ломом*, явно неправильное; бумагу не ломают, а рвут. Однако найти в данном случае правильное и точное русское слово не так-то просто: «*Бу-*

мажные бытовые отходы? Длинно! *Бумажное вторичное сырье?* Еще длиннее! Придется, пожалуй, остановиться на иностранном слове *макулатура*». И это при всей нелюбви Б. Тимофеева к иностранным словам! Да, тут прежде всего нужно разобраться в особенностях, характере терминов.

Отступление 1. **Слова науки и техники**

Термины как будто ничем не отличаются от обычных слов: имеют определенное значение, грамматические категории, изменяются, употребляются, как все слова. Но термины обозначают научные, технические понятия, они обслуживают специальные области. И такое их назначение не могло не отразиться на характере этой большой группы слов. Давайте сравним, как ведут себя самые обыкновенные слова в общелитературном языке и в профессиональной речи.

Мы можем сказать: *Рабочий взял лопату. Ребенку купили лопатку. Лопатка* — это маленькая лопата. Но имея в виду медицинский термин, обозначающий широкую треугольную кость в верхней части спины, мы только в шутку можем сказать: *У ребенка — лопатка, а у взрослого — лопата.* Кулачок, который находится на распределительном валу двигателя, может быть и большим, и маленьким. Но и большой кулачок — все *кулачок,* а не *кулак.* От прилагательного *тяжелый* можно образовать сравнительную степень *тяжелее,* но нельзя сказать: «У них тяжелое машиностроение, а у нас тяжелее». Нельзя сказать: «У сына большой круг кровообращения, а у отца — еще больше». Много или мало масла — все равно мы используем единственное число. Вообще, известно, что от вещественных существительных множественное число не образуется. В литературном языке. А вот в профессиональной речи образуется: *масла́, стали, граниты* и т. п. Даже род слова иногда меняется: *спазма* — обычное слово, *спазм* — медицинский термин. Аналогично *клавиша — клавиш, манжета — манжет* и др.

Таких особенностей можно было бы обнаружить немало. Но что же является самым важным, главным? Лингвисты определили три главные особенности термина. Во-первых, термин тесно связан с определенной научной областью: одно и то же слово в разных областях знаний имеет разный смысл (например, различные значения имеет слово *реакция* в медицине, химии и в политике;

слово *диафрагма* у медиков, оптиков и др.). Во-вторых, и это важнее всего, термин в принципе однозначен (в данной сфере), тогда как общелитературные слова многозначны; синонимы в общелитературном языке свидетельствуют о богатстве, развитии языка, а синонимы в профессиональной речи — о слабости, о неразвитости, о неупорядоченности терминологии. В-третьих, содержание термина, как показала на ряде примеров В. П. Даниленко, «раскрывается посредством... точного, логического определения», а не выражается лексическим значением слова.

Например, в литературном языке слово *шум* имеет несколько значений: «1. Совокупность многочисленных звуков, быстро меняющихся по частоте и силе (глухие звуки, сливающиеся в однообразное звучание). Беспорядочное звучание многих голосов. 2. Крик, ссора, перебранка. 3. Толки, оживленное обсуждение, вызванные повышенным интересом к кому-, чему-либо. 4. Оживление, суета». И т. д. А в специальном, терминологическом словаре сказано коротко: «**Шум**. — Помеха, добавляющаяся к сигналу».

Установив эти особенности терминов, В. П. Даниленко определила и их практическую значимость, объяснив, в частности, одно «заблуждение ревнителей чистоты языка». Они сопоставляли терминологическое сочетание *национальный доход СССР* с другими словосочетаниями: *национальная культура* — 'культура нации', *национальный язык* — 'язык нации', *национальный доход* — 'доход нации'. СССР — многонациональное государство, так что о 'доходе нации' говорить нельзя. А между тем нельзя смешивать термин и свободное словосочетание. Термин *национальный доход* — не 'доход нации', а 'часть стоимости совокупного годового общественного продукта...'. Это оказывается решающим.

И В. П. Даниленко в результате многолетних изысканий приходит к выводу, что заимствование в терминологии естественно. Почему? Ответить можно вопросом на вопрос: что может обеспечить требуемую однозначность и изолированность термина — общеупотребительное слово или слово, «ничего не говорящее» нам? Слова общеупотребительные уже и без того многозначны; кроме того, они часто стилистически окрашены, несут в себе эмоционально-экспрессивные и иные оттенки, влекут целый ряд нежелательных для термина ассоциаций.

Языковое сознание легче примет новое слово, чем старое слово с новым значением, которое нередко представляется попросту искажением, порчей языка. Обычное слово, становясь термином, тянет за собой лексическое, даже буквальное значение, а слово чужое, неизвестное нам, без труда получает определенный смысл. Кроме того, заимствованное (особенно греческого или латинского происхождения) слово легко входит в международную терминологическую систему.

Иностранное слово — термин — лишено и стилистической окраски, оно нейтрально. И это также оказывается достоинством в сравнении с отдельными русскими терминами, которые вызывают у нас то или иное эмоциональное отношение. Тот же Б. Тимофеев, отвергая слово *субпродукты*, вынужден признать, что русский его синоним — *требуха* — все-таки «не очень красивое слово».

Ребят, окончивших школу, отпугивают такие, например, названия очень нужных профессий, как *кишечник, убойщик, окуривальщик, потрошильщик, карманщик* и др. А замените эти слова иностранными, выпускники могут и соблазниться. Впрочем, так и делают: вместо «трепальщика» появился *оператор разрыхлительно-трепальных машин,* вместо «водогрея» — *контролер технологического процесса;* две профессии в мясоперерабатывающей промышленности «потрошильщик тушек птицы» и «туалетчик тушек кроликов» — объединены в одну: *обработчик тушек птицы и кроликов.* Конечно, свое, родное лучше иностранного (против этого общего принципа никто и не выступает), не к чему злоупотреблять иностранными словами, но только специалисты могут решить, нужны они или нет.

Ученые нередко принимают в качестве термина иностранное слово вовсе не из-за лени или нежелания поискать в родном языке равнозначное, вовсе не из-за преклонения перед иностранным: их заставляют так поступать объективные факторы, объективные особенности терминологии.

Крупные ученые долго и настойчиво ищут подходящее название для нового явления, ищут и в родном языке, и за его пределами. Это очень трудное дело. Американский ученый Норберт Винер так рассказывал о происхождении слова *кибернетика:* «Я упорно трудился, но с первых же шагов был озадачен необходимостью придумать наименование, чтобы обозначить предмет, о ко-

тором я писал. Вначале я попробовал найти какое-нибудь греческое слово, имеющее смысл «передающий сообщение», но я знал только слово angelos. В английском языке angel — это ангел. Слово angelos было, таким образом, занято и в моем случае могло только исказить смысл написанной мною книги. Тогда я стал искать нужное мне слово среди терминов, связанных с областью управления или регулирования. Единственное, что я смог подобрать, было греческое слово kybernetes, обозначающее «рулевой», «штурман». Я решил, что, поскольку слово, которое я отыскивал, будет употреблено по-английски, следует отдать предпочтение английскому произношению, а не греческому. Так я набрел на название *кибернетика.* Позднее я узнал, что еще в начале XIX в. это слово встречалось у французского физика Ампера, но осмыслялось в социологическом плане... В слове *кибернетика* меня привлекло то, что оно больше других всех известных мне слов подходило для выражения идеи всеобъемлющего искусства регулирования и управления, применяемого в самых разнообразных областях».

* * *

Лингвист. Но, конечно, в чем-то вы правы: наш язык в целом действительно мог бы меньше пестреть иностранными словами.

Критик. Наконец-то вы со мной согласились! Согласитесь же, что спасение в обращении к народным истокам, к народному языку, который неисчерпаемо богат. Я приведу только один характерный пример — рассказ В. Бокова:

Мы подошли с учительницей Полиной к дому бабки Труновой, чтобы поговорить с ее внучкой, не сыграет ли она роль в пьесе. Бабка появилась на крыльце с курицей, браня ее за какую-то оплошность.

— Где Люба? — спросил я.
— По батожья ушла.
— По что?
— Ну, по столбцы.
— По что?
— Ну, по петушки.
— По что? По что?
— По стебени.
— Не понимаю Вас.
— Ах, батюшка, какой ты бестолковый. По щавель!

Разве не замечательно — пять слов у этой крестьянки для названия одной вещи, тогда как мы и одного иной раз не знаем!

Лингвист. Да, пример замечательный, но это диалектизмы...

Критик. Ваша борьба за культуру речи — это способ задавить народное слово, которое для вас — мусор, а для меня — золото.

Лингвист. Ваш выпад против лингвистов объясняю отчасти полемическим задором, отчасти милым невежеством, именно лингвисты скрупулезно изучают народную речь, по крупицам собирают ее, составляют и издают диалектные словари.

Критик. Да вы посмотрите, что в литературе делается: писателю не дают употребить народное слово, сейчас же окрик — «областное», «провинциализм».

Лингвист. Может быть, это и правильно. Еще Чехов говорил, что лакеи должны говорить без *пущай* и *таперича.* Но при чем здесь лингвисты?

Критик. Как при чем? А кто вводит в словарях запретительные пометы? Кто предостерегает русский народ от употребления слов, которые опорочены — «нелитературное», «простонародное», и т. д.? А. Югов справедливо возмущается: «У нас вошло в дурной лексикографический обычай пятнать словарь русского народа неодобрительными и даже прямо запретительными пометами: «просторечие», «областное», «разговорное», «устарелое»...»

Лингвист. Что вам здесь не нравится? Давайте говорить конкретно.

Критик. Конкретно, пожалуйста! А. Югов привел много примеров. Я считаю, что это горсточка улик. *Непогодь* — областное; *пробурить* — «спец.», т. е. специальное; *одежа* — неграмотное; *прясло* — областное, запрещается также *беремя, хлебать, пособить.*

Лингвист. Но ведь *прясло* — это действительно диалектизм, а *пособить* — нелитературная форма. *Одежа* — так обычно не говорят.

Критик. *Пособить* нелитературное? А примеры в словаре из самой что ни на есть прекрасной литературы — из Крылова и Гоголя. *Прясло* — областное, а примеры из Кольцова и Александра Блока. Какая же из областей нашего Отечества является счастливым обладателем этого слова? Кто из русских не знает его? *Одежа*

неграмотно? А если я вам приведу пример из Чехова? Что вы на это скажете? Да, да, вы меня не поймаете, я имею в виду употребление таких слов в авторской речи, а не в речи персонажей!

Лингвист. Неважно, авторская речь тоже не является однородной, она нередко бывает насыщена, как говорят литературоведы, «голосами героев». Но не в этом дело. Правда, до сути добраться нелегко — так все запутано в ваших рассуждениях, просто клубок противоречий. Кстати, если уж кто и осуждал «провинциализм» в литературе, то не лингвисты, а сами мастера слова. Белинский очень точно писал: «Избегая книжного языка, не должно слишком гоняться и за мужицким наречием...»

Критик. Если вспомнить Белинского, надо цитировать то, как резко он выступал против разделения слов на высокие и низкие, и против того, что «фальшивый вкус строго запрещал употребление последних».

Лингвист. А вы забыли борьбу Горького против писания «по-балахонски»?

Критик. Ну вот всегда так! Всегда лингвисты берут на вооружение Горького. А ведь он был против — и совершенно справедливо! — злоупотребления уродливыми словами вроде *пыжжай и подъелдыкивать*. Что же касается отношения Алексея Максимовича к народному языку, то здесь разные толкования невозможны. Его взгляды ясные и четкие: «Писатель, не обладающий знаниями фольклора, — плохой писатель. В народном творчестве сокрыты беспредельные богатства, и добросовестный писатель должен ими овладеть. Только тут можно изучить родной язык, а он у нас богат и славен... Я очень рекомендую для знакомства с русским языком читать сказки русские, былины, сборники песен... Вникайте в прелесть простонародной речи, в строение фразы в песне... Вникайте в творчество народное, это здорово, как свежая вода ключей горных, подземных, сладких струй. Держитесь ближе к народному языку, ищите простоты, краткости, здоровой силы, которая создает образ двумя, тремя словами».

Лингвист. Вы меня не поняли. Давайте разбираться по порядку. Вы стоите за чистоту языка. Мы тоже за культуру речи. Культура речи — это следование определенным нормам. Задача, следовательно, в том, чтобы установить эти нормы.

Критик. Все борются за чистоту языка! Никто не против этого. Все согласны: надо беречь язык, да только понимает это каждый по-своему. Я не против норм, я только против ваших норм, против узких рамок. Я за свободу словоупотребления, за лозунг: «Весь язык русского народа литературен». Все слова равноправны. Только одни попали в литературу вчера, а другие попадут завтра. Это потенциально литературные слова.

Лингвист. Вы дважды противоречите себе. Вы говорите, что не против норм вообще, что только хотите их расширить. Но в то же время вы готовы допустить все. Но если все возможно, если все допустимо, тогда о каких нормах может идти речь? Другое противоречие: вы как будто стремитесь к яркости, выразительности речи, а фактически «всеобщее равноправие» слов уничтожает словесные краски. Ведь что такое словарные пометы «высокое», «книжное», «разговорное», «просторечное»? Это обозначения стилистической окраски слова. Это языковые краски. Это богатство любого развитого языка. Вот в примитивном языке все безлико, там полное равноправие слов.

Критик. Вы имеете в виду краски, которые приготовлены лингвистами из Академии наук?

Лингвист. Ирония бьет мимо цели. Пусть вам ответит Карамзин: «Слова не изобретаются академиями: они рождаются вместе с мыслями или в употреблении языка или в произведениях таланта, как счастливое вдохновение. Сии новыя, мыслию одушевленные слова входят в язык самовластно, украшают, обогащают его, без всякого ученого законодательства с нашей стороны; мы не даем, а принимаем их. Самые правила языка не изобретаются, а в нем уже существуют; надобно только открыть или показать оныя».

Наши лексикографы, составители словарей, стараются максимально точно, добросовестно зафиксировать то, что реально есть в языке. А в развитом языке существует несколько слов для выражения одной идеи, одного понятия. Это синонимы. Язык не терпит двух совершенно одинаковых слов, поэтому мы видим, что синонимы отличаются либо оттенками значений, либо употребительностью — одни чаще, другие реже. Чем реже слово употребляется, тем оно «необычнее», т. е. тем ярче его стилистическая окраска. Наиболее типично такое соотношение: книжное — нейтральное — разговорное, напри-

мер: *очи — глаза — буркалы* и т. д. Когда слово начинает чаще употребляться, оно теряет свою окраску, становится обычным, нейтральным. Когда оно начинает реже употребляться, оно приобретает окраску («устарелое», «поэтическое» и т. д.). Имеет значение и то, где употребляется слово, в каких условиях. То, что в данный момент находится в употреблении всего общества, входит в норму; то, что употребляется редко или в ограниченной, сравнительно узкой среде, находится на периферии или даже за пределами литературного языка (диалектизмы, профессиональные слова, жаргонные).

Критик. Но почему же вы пропустили самое ценное — то, что говорит Карамзин о роли таланта, т. е. писателя, в обогащении языка. Талант самовластно использует слово. Пусть я в чем-то ошибаюсь, но разве ваше ученое запретительство лучше? Учите нормам школьников, но не вторгайтесь в литературный язык. Разве приглаженность, стандартизация лучше? Не я призываю уничтожить краски языка. Их уничтожает ваша нормализация. Редакторы, корректоры — все исправляют писателя: не то слово употребил, неграмотное, просторечное. На Гоголя нападали за ошибки, и как хороша отповедь Белинского: «Господа! Не пора ли бросить эту старую замашку?.. У какого писателя нет ошибок против грамматики — да только чьей — вот вопрос! Карамзин сам был грамматика, перед которой все ваши грамматики ничего не значат. Пушкин тоже стоит любой из ваших грамматик».

Лингвист. Вы смешали разные понятия: литературный язык и язык литературы (художественной), который понимается в данном случае как индивидуальный стиль писателя. Литературный язык обслуживает разнообразные культурные нужды народа, это язык книг, печати, радио, науки и т. д. О его нормах я говорил. Иное дело — индивидуальный стиль писателя. Здесь свои нормы, их устанавливает для себя сам писатель, здесь нет иного критерия, кроме «чувства соразмерности и сообразности», как говорил Пушкин. Чем строже нормы, тем выразительнее каждое обоснованное отступление от них, в том числе и в языке писателя. Но вы затронули интересный вопрос...

Отступление 2. **Специфика ошибки**

Наше представление о «хорошем стиле» приходится решительно менять, когда мы от бытовой или деловой речи переходим к художественной. Вполне правильная, гладкая речь в художественном произведении может и не быть его достоинством. Нарушения стилистических норм могут не быть ошибкой, напротив, они подчас служат средством выразительности текста.

Мопассан писал: «Обычно широкая публика называет «формой» определенное благозвучие слов, расположенных в закругленные периоды, фразы со звучным вступлением и мелодическим понижением интонации в конце... Форма бесконечно разнообразна, как и те ощущения, впечатления и чувства, которые она облекает, будучи неотделимой от них. Она соответствует всем их изгибам и проявлениям, находя единственное и точное слово, нужное для их выражения, особый размер и ритм, необходимый в каждом отдельном случае для каждой вещи, и создает в этом неразрывном единстве то, что писатели называют стилем, причем этот стиль совсем не похож на тот, которым принято восхищаться».

Поэтому критики, приводя примеры стилистических неточностей у писателей, совершают ту ошибку, которая в логике называется «подменой понятия». Точно так же неверно считать «стилистом» писателя, который строит «благозвучные» фразы. Увы! Как часто язык писателя оценивается с этих позиций!

Особенно показательны споры, разгоревшиеся вокруг стиля Гоголя, у которого критики отмечали «неопытность, шаткость в языке, а иногда и явное незнание грамматики». Н. Полевой в 1842 г. в «Русском вестнике», разбирая «Мертвые души», спрашивал: «Где вы слыхали следующие, например, слова на святой Руси: «в эту приятность чересчур *передано* сахару» — «*болтая* головою» — «*встретил* отворявшуюся дверь» — «*здоровье прыскало* с лица его» — «*юркость характера*» — «пропал, как *волдырь* на воде»... — «*краюшка уха* его скручивалась» — «*сап* лошадей, *шум* колес» — «седой *чапыжник,* густою щетиною вытыкавший из-за ивы»? Мы могли бы усотерить примеры, но в приведенных нами немногих не видите ли вы вашего незнания русского народного языка? По-русски говорится *переложить сахару,* а *передать сахару* не русская фраза... головой у нас *качают,*

а не *болтают*; *встретить* можно только то, что идет навстречу; на воде вскакивают *пузыри*, а *волдырь* говорится о пузыре или шишке на теле... *краюшка*, говоря об ушах, не употребляется; *сап* значит болезнь лошадей, а не сопение; колеса у нас *скрыпят, стучат*, а не *шумят*; *чапыжник* значит мелкий срубленный кустарник, а не растущий, и где вы слыхали слова: *прыскало здоровье, юркость нрава* (а не характера)... в том значении, в каком вы их употребляете? Никто не отвергает обогащения языка простонародными словами, но для того надобно знать язык простонародный, иметь вкус, а еще более хорошо узнать науку русского слова».

Один из современников Гоголя Ф. В. Чижов отмечал в своем дневнике (1847) ошибки Гоголя в I главе «Мертвых душ»: «Сидел... ни слишком толст, ни слишком тонок» — нельзя по всей строгости сказать без глагола был. Сокращенные прилагательные всегда подразумевают глагол; следовательно, если нет глагола, подразумевается есть и не ладится с прошедшим временем... «Он выбежал весь длинный» — не по-русски... «Запах, который был сообщен» — будто бы тут «сообщен»... «Заснул два часа». «Заснул» нельзя сказать сколько или, если можно, то неопределенно...»

И тот же Ф. В. Чижов признавался позднее: «Минутами я беру в руки «Мертвые души» Гоголя и беспрестанно прошу внутренне извинения у нашего истинного таланта. Не знаю, с чего мне показался дурным и несовершенным его язык. Теперь он мне кажется превосходным. Нигде, решительно нигде я не заметил, чтобы он выходил за пределы, требуемые предметом. Везде он в рамках рассказа, везде сам язык ровно в ладу с содержанием и с ходом дела».

Самому А. С. Пушкину приходилось оправдывать и защищать особенности своего словоупотребления.

В 1828 г. в журнале «Атеней» (№ 4, ч. I) был помещен строгий разбор двух глав романа «Евгений Онегин»:

«Так одевает бури тень
Едва рождающийся день.

Трудно понять, кто кого одевает: тень ли бури одевается днем или день одевается тенью? Притом посудим, что такое тень бури?..

На красных лапках гусь тяжелый,
Задумав плыть по лону вод... —

критик иронически замечает, — не уплывет далеко на красных лапках. Неверно также выражение: плыть по лону; лоно означает глубину, недро...»

Раздосадованный Пушкин набросал «Возражение на статью «Атенея», где саркастически замечал: «Из 291 мелочи многие достойны осуждения, многие не требуют от автора милостивого отеческого заступления, — вольно всякому хвалить и порицать все, что относится ко вкусу. Но критик ошибся, указывая на некоторые погрешности противу языка и смысла. И я решился объяснить ему правила грамматики и риторики не столько для собственной его пользы, как для назидания молодых словесников». И писал о первом из приведенных двустиший: «Там, где сходство именительного падежа с винительным может произвести двусмыслие, должно по крайней мере писать все предложение в естественном его порядке...» (Мы и сейчас, когда прямое дополнение по форме совпадает с подлежащим, стараемся подлежащее ставить в начале предложения, а дополнение — после сказуемого, например: *Весло задело платье; Локомотивы мчат составы* (газетный заголовок); *Грузовик везет на буксире легковой автомобиль, День сменяет ночь* и т. п.) «Лоно не означает *глубины*, лоно значит *грудь»*.

В отношении других замечаний критика Пушкин выдвигал также обоснованные аргументы:

«Младой и свежий поцелуй

вместо поцелуй молодых и свежих уст — очень простая метафора...

Кибитка удалая.

Опять метафора.

Людская молвь и конский топ.

Выражение сказочное (Бова Королевич).

Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтоб видеть свойства русского языка.

«Как приятно будет читать роп вм. ропот, топ вм. топот» и проч. На сие замечу моему критику, что роп, топ и проч. употребляются простолюдинами во многих русских губерниях — ...мне случалось также слышать стукот вместо стук».

Особенно любопытно тонкое грамматическое замечание Пушкина об употреблении родительного и винительного после глаголов с отрицанием. Критик усмотрел ошибку в стихе:

Два века ссорить не хочу —

и заметил: «Кажется, есть правило об отрицании *не...»* Ему казалось, что правильно было бы *двух веков.* Мы сами часто затрудняемся в выборе формы: *не принес молоко* или *не принес молока; не видел газету* или *не видел газеты; не сдал экзамены* или *не сдал экзаменов?*

Пушкин объяснял: «Грамматика наша еще не пояснена (спорным вопрос остается до сих пор. — *В. О.*)... в чем состоит правило: что действительный глагол, непосредственно управляемый частицей *не,* требует вместо винительного падежа родительного. Например — я не пишу *стихов.* — Но если действительный глагол зависит не от отрицательной частицы, но от другой части речи, управляемой оною частицею, то он требует падежа винительного, например: Я не хочу писать стихи, я не способен писать стихи. В следующем предложении — Я не могу позволить ему начать писать *стихи* — ужели частица *не* управляет глаголом писать? Если критик об этом подумает, то, вероятно, со мною согласится».

Нельзя не согласиться. Но дело даже не в этих грамматических тонкостях. Иные должны быть критерии, принципы оценки языка художника — это было ясно современникам поэта. Так, «Московский вестник» (1828 г., ч. 8, № 5) писал:

«В «Атенее» кто-то насчитал множество ошибочных выражений в «Онегине». Читал ли г. Критик, занимаясь старыми своими грамматиками, прочие стихотворения Пушкина? Заметил ли он, что у Пушкина особливое достоинство — верность и точность выражения, и что это достоинство принадлежит ему предпочтительно перед всеми нашими поэтами? Пушкин, следовательно, мог, если бы захотел, избежать тех ошибок, в которых его упрекают (впрочем, из замеченного только $^{1}/_{10}$ справедливо), но у него именно, кажется, было целию оставить на этом произведении печать совершенной свободы и непринужденности. Он рассказывает вам роман первыми словами, которые срываются у него с языка, и в этом отношении «Онегин» есть феномен в истории русского языка и стихосложения».

Издатель произведений Пушкина Морозов в фразе из «Капитанской дочки» ...*Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорее. (Маша кинулась ему на шею, и зарыдала*) устранил скобки и последнюю запятую. В. И. Чернышев заметил, что в этом случае получилось, что Маша бросилась на шею отцу после того, как он договорил речь. Но тогда непонятна эта настойчивая просьба капитана: *уведи же*... Запятая же после слова *шею,* столь, казалось бы, неудачная между однородными сказуемыми, указывала, по мнению В. И. Чернышева, на «разделение действий, из которых второе следовало не тотчас за первым, но с некоторым промежутком... Она некоторое время сдерживалась, крепилась — и все-таки зарыдала. Вот как мы выразили бы тот смысл фразы, который придается ей пушкинской запятою».

А. А. Блок в 1909 г. в письме к С. К. Маковскому замечал: «Для меня дело обстоит вот как: всякая моя грамматическая оплошность в этих стихах *не случайна,* за ней скрывается то, чем я *внутренне* не могу пожертвовать; иначе говоря, мне так «поется», я не имею силы прибавить, например, местоимение к строке «вернув бывалую красу» в «Успении» (сказать, например, «вернув *ей* прежнюю красу» — не могу — не то). Далее, я не говорю, что это так *навсегда;* очень может быть, что, отойдя от стихотворения на известное расстояние, я смогу без жертвы найти эквивалент некоторым строкам — более «грамотный»...»

Вот несколько характерных примеров постановки тире в романе Горького «Мать»: *А вот нет его, и — ничего нет; Наступил вечер. И — ночь* (это не просто информация о течении времени, тире передает напряженность ожидания матери после ареста Павла); *И было в нем* [*Рыбине*] *что-то напоминавшее ей мужа ее... в том жила такая же нетерпеливая злоба, нетерпеливая, но немая. Этот — говорил* (тире усиливает противопоставление); *...который хорошо сделал трудную работу и — доволен; ...оглянулась — родственники подсудимых подходили к решетке* (так передается восприятие героини; тире заменяет пропущенное *увидела*).

Более того, не только языковые, но и фактические ошибки русских классиков не подлежат правке.

И. Сельвинский о стихе М. Ю. Лермонтова

Араб горячил вороного коня...

писал: «Какая прекрасная строчка! Однако в действительности не родился еще тот араб, который решится сесть на коня вороной масти. Дело в том, что арабские лошади бывают белыми и желтыми, но по закону меланизма у белых может родиться жеребенок черной шерсти. Такая лошадь считается нечистой, и ее либо режут на мясо, либо продают иностранцам. Но эта подробность арабского быта настолько малоизвестна, а строка сложена до такой степени отлично, что мы, даже зная о тайне вороных коней, принимаем лермонтовский стих не только без протеста, но с наслаждением. Попробуйте приблизить эту фразу к точности — и она потеряет свое великолепное звучание.

Араб горячил золотого коня, —

неплохо, но... выпало одно *р* из трех, и строка потускнела, несмотря на позолоту».

Показав, что в поэме «Мцыри» М. Ю. Лермонтова бой Мцыри с барсом не выдерживает никакой критики с точки зрения зоографа, И. Сельвинский добавлял: «Но любопытно еще и другое: основная ошибка Лермонтова — переселение барса из Туркестана в Грузию, где барс никогда не водился, — стала восприниматься художественной литературой как научная истина. И вот уже в рассказе И. Бунина «На Кавказе» читаем в описании грозы: «...раскалывались в небесных высотах допотопные удары грома. Тогда в лесах просыпались и мяукали орлята, ревел барс, тявкали чекалки». Это, конечно, бессмертный лермонтовский барс — другого быть не могло. Но у поэзии своя география, свой Кавказ, и в этом ее прелесть».

Сплошь и рядом авторы сознательно идут на нарушение правдоподобия (исторического, географического и др.).

Так, А. Фадеев в предисловии (1930) к «Последнему из удэгэ» признавался: «Как и в «Разгроме», я не придерживался в романе абсолютной географической точности. Используя наиболее благозвучные и оригинальные названия рек, гор и селений, я поневоле сдвигал со своих мест те, и другие, и третьи, стараясь сохранить только общий колорит края».

А. Н. Толстой в письме начинающему автору (1938) рекомендовал: «Вы спрашиваете — можно ли «присочинить» биографию историческому лицу. Должно. Но сде-

лать это так, чтобы это было вероятно, сделать так, что это (сочиненное) если и не было, то должно было быть».

Реализм литературы не сводится к правдоподобию, к объективной точности. Литература развивается по своим законам.

* * *

Критик. Вы видите, что я был прав: то, что грамматоедам казалось неправильным, в действительности служило развитию языка; то, что было за пределами, как Вы говорите, литературного языка, входило во всеобщее употребление, расширяло рамки литературного языка, его возможности.

Лингвист. В общелитературный язык входило не все; нельзя забывать, что писатели решали чисто художественные задачи; многое оказывалось уместным, удачным в данном произведении, но не становилось всеобщим.

Критик. Пусть, но вы не станете отрицать, что вопреки всему границы языка раздвигались, нормы менялись, язык обогащался. Блюстители языка находили грубыми, неприличными (для дамских ушей — эти дамские уши были высшим критерием) у Пушкина слова *усы, визжать, ого, молвь, дровни.*

Лингвист. И сейчас поэты иногда воспаряют.

Критик. Речь не о поэтах. Слушайте дальше: «Затеяв писать... новгородскую повесть «Вадим», Пушкин в отрывке из нее употребил стих: «Но тын оброс крапивой дикой». Слово *тын,* взятое прямо из мира славянской и новгородской жизни, поражает сколько своей смелостью, столько и поэтическим инстинктом поэта. Из прежних поэтов едва ли бы кто не испугался пошлости и прозаичности этого слова...» Вот, тогда боялись слова *тын,* а теперь боятся слова *прясло.*

Лингвист. Диалектное слово может быть очень удачно и выразительно, но от этого оно не перестает быть диалектным. Больше того, оно именно поэтому и выразительно. Оно необычно для нас.

Критик. Я не кончил: «Теперь странно видеть какую-то смелость в употреблении слова *тын;* но мы говорим не о теперешнем, а о прошлом времени: что легко теперь, то было трудно прежде. Теперь всякий рифмач смело употребляет в стихах всякое русское слово, но

тогда слова, как и слог, разделялись на высокие и низкие, и фальшивый вкус строго запрещал употребление последних. Нужен был талант могучий и смелый, чтобы уничтожить эти австрийские табу в русской литературе. Теперь смешно читать нападки тогдашних аристархов на Пушкина — так они мелки, ничтожны и жалки; но аристархи упрямо считали себя хранителями чистоты русского языка и здравого вкуса, а Пушкина — исказителем русского языка и вводителем всяческого литературного и поэтического безвкусия...» Написано — как будто сейчас, нашим современником.

Лингвист. Конечно, роль писателей в обогащении языка огромна, но все-таки создатель и, если хотите, хозяин языка — народ. Язык развивается по своим законам. Писатели тонко чувствуют, улавливают эти тенденции и действуют в соответствии с ними.

Критик. Да ведь обогащение языка достигается почти исключительно благодаря народной речи, за счет того самого просторечия, которое противопоказано «культуре речи», за счет тех слов, которые когда-то были «бурлацкими», «мужицкими» и которые и теперь изгоняются.

Лингвист. Меньше всего повинны в этом лексикографы.

Критик. А вот нет. Вам нужны факты, цифры? Их собрал писатель А. Югов: «В 4-м издании «Толкового словаря» Даля было представлено 220 тысяч русских слов. В ...четырехтомном словаре коллектива составителей их только... 85 тысяч. То есть исключено из литературного языка, страшно молвить, 135 тысяч слов. Да еще из оставшихся-то многие снабжены пометою предостережения».

Лингвист. Но ведь это словари разного типа.

Критик. Это словари русского языка. И словарь Даля, по словам В. И. Ленина, «великолепная вещь».

Лингвист. В. И. Ленин очень точно оценил словарь: великолепная вещь, но особого рода. Вот что писал В. И. Ленин в письме А. В. Луначарскому 18 января 1920 г.:

...Великолепная вещь, но ведь это *областнический* словарь и устарел. Не пора ли создать словарь *настоящего* русского языка, скажем, словарь слов, употребляемых *теперь* и *классиками*, от Пушкина до Горького.

Что, если посадить за сие 30 ученых, дав им красноармейский паек?

Как бы Вы отнеслись к этой мысли?

Словарь классического русского языка?

Не делая шума, поговорите с знатоками, ежели не затруднит, и сообщите мне Ваше мнение.

Ваш *Ленин*

Тот словарь и был составлен по заветам Ленина, словарь «настоящего», «классического» русского языка. И позже вышел 17-томный словарь современного русского литературного языка, который базировался на принципах словаря Д. Н. Ушакова и руководители группы составителей которого — Ф. П. Филин, А. М. Бабкин, С. Г. Бархударов и С. П. Обнорский — удостоены Ленинской премии. Но словарь Даля настолько «великолепная вещь», что поговорить о нем стоит...

Отступление 3. **Собиратель слов**

В марте 1819 г. по дороге из Петербурга в Москву на паре почтовых лошадей ехал молоденький мичман. Ямщик, поглядывая на небо, погонял лошадей. Вдруг он сказал:

— Замолаживает...

— То есть как замолаживает? — переспросил мичман.

Вот ведь русское слово, а непонятно. Ямщик стал объяснять, а мичман вытащил из кармана записную книжку и, коченея от холода, записал: «*Замолаживать* — иначе *пасмурнеть* — в Новгородской губернии значит заволакиваться тучками, говоря о небе, клониться к ненастью».

Звали мичмана Владимир Иванович Даль. Записав первые неизвестные ему русские слова, Даль стал внимательно прислушиваться к речи народа, и через десять лет его словарные записи требовали уже особой подводы. Даль захвачен мыслью составить словарь живого народного языка.

Сколько слов знает обычно человек? Предполагают, 10—12 тысяч. Подсчитано, что Пушкин использовал более 20 тысяч слов. В словаре Даля — более 200 тысяч.

Даль до тонкостей знал каждую вещь, все обозначения, к ней относящиеся. Так, нож, который в обычном

словаре определяется просто как «инструмент для резания», в словаре Даля характеризуется следующим образом:

НОЖ, ***м. ножик, ножичек, ножища;*** стальная или наваренная сталью железная полоса, в черене, в колодке, для резания. В *ноже* отличают: *плашку* или *полосу, лист,* и *колодочку, черен; в плашке: лёзо, лезвие, резь,* острое ребро; *обух, обушок, тупее, тупое, толстое ребро; плоск, плюск, голомень,* плоские бока или стороны ножа; *острие, тычек, жало, кончик,* острый конец; *ножка, осадка,* часть, уходящая в колодку. *Жалом* зовут и острый окраек лёза. Большой столовый нож: *рушальный;* ножища кухонный, мясничий: *косарь, секач;* поварской: *приспешный* или *колодей;* рещиковый, столярный: *резак;* чеботарный: *клепик;* для бритья: *бритва;* лекарский: *скальпель, бистури, ампутационный* и пр. *Плужной* или *сабанный нож,* отрез, вставленный с боку лемеха. *Бумажный нож,* т. е. для взреза бумаги, бывает и костяной, и деревянный. Различают и еще ножи: *карманные (складные), перочинные (ножички), садовые, охотничьи (кортик, кинжал)* и пр. *Секач* делает переход от ножа к топору, *кинжал* к сабле. *Бабий нож,* ножницы; одна половинка разрозненных ножниц, которая, у баб, правит и замест ножа...

Далее описываются иные типы ножей — ножи машинные, ножи у свечников, копье с ножами и пр.

Беседуя с Пушкиным, Даль как-то спросил, знает ли поэт, как называется старая кожа змеи, т. е. шкурка, которую ежегодно сбрасывают змеи. Пушкин не знал. «Выползина», — ответил Даль. Пушкину новое слово очень понравилось, и он заметил с грустью: «Да, вот мы пишем, зовемся тоже писателями, а половины русских слов не знаем!!..» За несколько дней до смерти Пушкин пришел к Далю в новом сюртуке и сказал: «Эту выползину я теперь не скоро сброшу». В нем Пушкин был и на дуэли. Простреленный, с небольшой дырочкой черный сюртук — выползина — достался Далю после смерти Пушкина как память, реликвия.

Даль знал местные говоры и по выговору мог определить, из каких мест человек. Рассказывают, что однажды Даль встретил монаха и спросил его:

— Какого, батюшка, монастыря?

— Соловецкого, родненький, — ответил монах.

— Из Ярославской губернии? — сказал Даль (он знал, что *родненький, родимый* часты в речи ярославцев). Монах смутился:

— Нетути, родненький, тамо-ди в Соловецком живу.

— Да еще из Ростовского уезда? — удивился Даль. Монах упал в ноги:

— Не погуби.

Оказалось, это был беглый солдат из Ростовского уезда Ярославской губернии, выдававший себя за соловецкого монаха.

Открыв океан народного языка, Даль потерял интерес к языку литературному: он показался ему бесцветным, пошлым, вообще нерусским, испорченным иностранным влиянием. Даль пишет: «...в образованном обществе и на письме язык наш измололся уже до пошлой и бесцветной речи, которую можно перекладывать от слова до слова на любой европейский язык». А как же надо говорить? Говорить надо живым, выразительным и точным народным языком. И Даль приводит для сравнения образцы «образованной» книжной и народной речи:

Литературный язык	Народный язык
Казак оседлал лошадь как можно поспешнее, взял товарища своего, у которого не было верховой лошади, к себе на круп и следовал за неприятелем, имея его всегда в виду, чтобы при благоприятных обстоятельствах на него напасть.	Казак седлал уторопь, посадил бесконного товарища на забедры и следил неприятеля в назерку, чтобы при спопутности на него ударить.
Овцы получаются там-то, частью с тем, чтобы их резать на месте, частью же, чтобы гнать гуртами далее в Россию.	Овцы берутся на убой или в отгон.
Жизнь наша коротка, а бедствий встречаем много.	Веку мало, горя много.
Эта отрасль промышленности у нас в большом развитии.	Промысел этот шибко прошел.

«Сравните и решите, что лучше и как бы должно писать и говорить», — обращался Даль к Жуковскому. Жуковский отвечал, что вторым способом можно говорить только с казаками, да и то о близких, понятных им предметах.

Больше же всего, по мнению Даля, русский язык портят иностранные слова. Приводя иностранное слово, Даль дает тут же множество русских синонимов, он показывает, как легко найти замену иностранного слова, пусть даже привычного, принятого и уже освоенного нашим языком. Заимствованное когда-то из французского

языка слово *серьезный* вполне обрусело. Но Даль пишет: «Значение этого слова весьма различно, но одним из следующих его всегда заменить можно: важный, чинный, степенный, величавый; строгий, настойчивый, решительный; деловой, дельный, озабоченный, внимательный, занятой; думный или думчивый, мысливый, резкий, сухой, суровый, нешуточный; нешутя, поделу, истинно, взаправду, взабыль и пр.».

Если же подходящей замены не было, Даль придумывал сам. Например, говорил он, французское *пенсне* можно заменить словами *щипки, носохватка, щипоноска, клещовка, жемочки, очечки; гимнастика — ловкосилие; атмосфера — мироколица* или *колоземица; горизонт — небозем* или *глазоем* (тут же он приводил областные слова — *овид, оглядь)* и т. д.

Иронически отнесся к этой идее Н. Г. Чернышевский, который писал: «Мы начинаем обращаться в славянофилов. Три месяца тому назад, когда мы хотели выразить впечатление, производимое львовскою газетою «Слово», нам подвернулись слова иностранного происхождения — «национальная бестактность». Теперь совершенно такое же впечатление, произведенное двумя первыми нумерами московской газеты «День», выразилось у нас словами чистейшего русского происхождения. Значительную долю славы за это спасительное обращение наше история, по всей вероятности, припишет «монументальному», по выражению «Дня», труду В. Даля: «Толковому словарю живого русского языка», в котором предлагаются чистые русские слова на замену всех взятых от латинских, люторских и других нехристей; например, астрономический термин «аберрация» заменяется золотопромышленным словом «россыпь», «абордаж» — словом «сцепка», «абориген» — «коренник или сидящий на корню», «авангард» — «переды или яртаул», «автограф» — «своеручник», «автомат» — «самодвига», «живуля», «живыш» и так далее.

Для замены иностранных слов В. Даль широко использовал и областные слова, диалектные: *этаж — жилье; аптека — снадобница, зельница; портрет — поличие, подобень; маршрут — путевик; маска — окружник; револьвер — скоропал* и др.

Но не тем прославился В. Даль. Он остался в нашей памяти замечательным собирателем, исследователем народной речи. Он собирал не только слова, но и пого-

ворки, пословицы — 37 тысяч. Например, В. Даль нашел 110 пословиц со словом *глаз*, 86 — со словом *голова*, 77 — со словом *конь* и т. д. После смерти В. Даля его «Толковый словарь живого великорусского языка» несколько раз переиздавался, к нему постоянно обращаются лингвисты, журналисты, писатели и все интересующиеся языком.

* * *

Критик. Все же лучший критерий истины — практика. История борьбы за богатство и чистоту нашего языка очень показательна.

Лингвист. В этом я с вами совершенно согласен. Дискуссии велись ожесточенные, выдвигались разнообразные доводы. Наше преимущество перед спорщиками прошлых десятилетий в том, что мы знаем результаты, мы знаем то, как сама жизнь решила их споры.

УРОКИ ИСТОРИИ

И. А. Гончаров в «Литературном вечере» передает разговор своих современников о языке.

Один из них вздыхает:

«— Теперь что-то не пишут так!»

Другой спрашивает:

«— Как это «так»?»

И слышит в ответ:

«— Так приятно, плавно, по-русски, чтобы всякий понимал! Возьмешь книгу или газету — и не знаешь, русскую или иностранную грамоту читаешь! Объективный, субъективный, эксплуатация, инспирация, конкуренция, интеллигенция — так и погоняют одно другое! Вместо швейцара пишут тебе портье, вместо хозяйка или покровительница — патронесса! Еще выдумали слово игнорировать!»

«— Да и по-русски-то стали писать, боже упаси, как!.. Например, выдумали — «немыслимо», а чем было худо слово «невообразимо»? Нет, оно, видите, старое, так прочь его! Или, все говорили и писали: «Такой-то или такие-то обращаются к тому, другому, или друг с другом так-то»; не понравилось им, давай менять: «такой-

то *относится-де* так-то». Лучше ли это, я вас спрашиваю?»

Еще в 1789 г. один из критиков писал о неологизмах П. Львова, популярного тогда писателя: «Что касается до отваги господина сочинителя помещать тут же в сочинении своем многие слова, как, например, *себялюбие, себялюбивый... челопреклонцы, великодумцы, щедрохищники* и другие тому подобные; так в сем случае он совсем уже неизвинителен, и ему б было слишком еще рано навязывать читателям подобные новости, а надлежало б наперед аккредитоваться поболее в сочинениях».

Новые явления требуют для своего обозначения новых слов. Новые слова кажутся странными или вообще излишними. *Себялюбие* — к этому слову мы уже привыкли и не понимаем, чем оно могло поразить Болотова. Но для него, по-видимому, оно звучало так же, как для нас *щедрохищники.* Сам Болотов не боится использовать иностранное слово *аккредитоваться,* едва ли необходимое. Вообще же именно иностранные слова вызывали протест чаще всего.

Выступления против иностранных слов, споры, «русское или иностранное», имеют давнюю традицию. В середине XVIII в. в одном из журналов предлагалось заменить такие иностранные слова русскими: *аппетит — побуждение, желание, хотение; багаж — имение, пожитки; директор — правитель; инженер — искусный строитель крепостей* и т. д. Легко увидеть, что эти иностранные слова не заменили и не отменили русских, но и не исчезли из языка, они оказались необходимыми, они обогатили наш язык. Язык не потерпел бы двух совершенно одинаковых слов. Иностранные слова, как правило, отличаются от соответствующих русских слов, выражают дополнительные смысловые оттенки. Так, князь Н. А. Вяземский писал о заимствованном слове *результат:* «...порываемся к результатам, которых... по-настоящему нет у нас, и поневоле прибегаем к галлицизму, потому что *последствия, заключения, выводы,* все неверно и неполно выражает понятие, присвоенное этому слову».

Думаем ли мы, что *результат* — нерусское слово? Как-то даже странно слышать, что *кровать, свекла, парус* — слова заимствованные. Все знают, что *макароны* — слово итальянское, но *салфетка* кажется совсем русским. А между тем в нем есть признак «иноязычности» — звук [ф]. Почти все слова с буквой *ф* заимствованные: *фо-*



нарь, фильм, форма, кефир, шкаф, так же как и слова, начинающиеся с буквы *а: аптека, апрель, армия, атака.* Это слова заимствованные, но не иностранные. Это самые обычные русские слова. Конечно, нужно время, чтобы слово стало «своим».

Вначале же «психологический барьер» преодолеть трудно. В романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (гл. IV, ч. VIII) Кирсанов в разговоре с Верой Павловной употребляет слово *инициатива: — ...А я верил тому, что ты толкуешь о равенстве, если равенство, то и равенство инициативы. Инициатива* — для нас вполне обычное слово, никого сейчас им не удивишь. Реакция же Веры Павловны иная: — *Ха, ха, ха! Какое ученое слово!..* И дальше она с нажимом несколько раз повторяет поразившее ее слово: — *Разве я не стараюсь иметь равенство в инициативе? Но, Саша, я теперь беру инициативу продолжать серьезный разговор...*

В те годы слово *инициатива* только входило в наш язык и для современников Чернышевского, возможно, звучало примерно так же, как для нас какое-нибудь *трансцендентный.*

В 1865 г. газета «День» писала: «*Инициатива!* Какое варварское слово! Нельзя ли русским писателям и словесникам придумать и пустить в ход русские того же смысла слова, например, хоть *начаток, початок, задумок, перводел* или что-нибудь лучше этого?». Но слово *инициатива* живет.

К слову *принцип,* появившемуся в 40-х годах прошлого века, никак не могли привыкнуть. Даже произносили его по-разному. Герой «Отцов и детей» И. С. Тургенева говорит: «*Мы люди старого века, мы полагаем, что без принсипов* (Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер, Аркадий, напротив, произносил «прынцип», налегая на первый слог)...

И у героев И. А. Гончарова это слово вызывает отвращение: — *... это противно моим принципам! — заклю-*

чил Кряков. — Слышь — «принципы», это стоит «игнорированья», — тихо заметил генерал Сухову.

Один из филологов XIX в. предрекал: «Я думаю, все эти *абстракты, принципы* и проч. недолговечны и никак не получат в русском языке права гражданства, а скоро, вместо них, по-прежнему войдут в употребление *отвлеченность, начало* и проч.».

Этот прогноз (уместно ли здесь иностранное слово или лучше *предвидение, пророчество*?) не подтвердился.

Можно ли думать, что множество иностранных слов, принятых и освоенных нашим языком в течение столетий, обеднило, а не обогатило его? Иностранные, заимствованные слова образуют значительный слой лексики любого языка. Это неизбежный и, будем думать, необходимый результат общения народов. Другое дело — злоупотребление иностранными словами в речи.

Вызывали возмущение не только чужие слова, но и чужие значения, русские слова, «копировавшие» иностранные, слова-кальки. Например, русское *полуостров* — это буквальный (по частям) перевод немецкого Halbinsel (halb — 'половина', Insel — 'остров'). Часто такое необычное образование или использование русского слова казалось неоправданным.

Один из филологов писал (в конце 20-х годов XIX в.): «Не довольно обруселые немцы, переводя с немецкого Sie sieht hübsch aus, говорят: *она хорошо выглядит* вместо *она хороша собою* или *чернильница выглядит, как ваза,* желая сказать, что *чернильница имеет вид вазы.* Слово *выглядеть* значит то же, что *разглядеть,* и отнюдь не может быть употреблено в значении, которое ему придают недоученные». *Выглядеть* — это буквальный перевод немецкого aussehen: aus — 'вы', sehen — 'смотреть, глядеть'.

И мы сейчас говорим, как «недоученные», хотя глагол *выглядеть* противоречит, по выражению акад. Я. Грота, «как духу русского языка, так и грамматике». Замечали ли вы, что приставочные образования глагола *смотреть* и *глядеть* синонимичны (различия почти исключительно стилистические, а не смысловые): *рассматривать незнакомца* — это то же, что *разглядывать незнакомца;* можно сказать: *Отец внимательно посмотрел на меня* или *поглядел на меня;* глагол *недосмотреть* легко заменить глаголом *недоглядеть;* то же мы видим и в возвратных формах: *осмотреть(ся) — оглядеть(ся),*

присмотреть(ся) — приглядеть(ся), засмотреть(ся) — заглядеть(ся), насмотреть(ся) — наглядеть(ся). И вдруг: *высмотреть — выглядеть* — никакого соответствия.

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова у глагола *высмотреть* находим два значения: «1. Старательно рассмотреть. *Высмотреть все подробности.* 2. Рассматривая, найти. *Высмотреть в толпе знакомого».* Мы не скажем «выглядеть все подробности» или «выглядеть в толпе знакомого», хотя, если мы так скажем, нас легко поймут (правда, решат, что мы хотим быть остроумными). В том же словаре для глагола *выглядеть* дано только одно значение: «Иметь тот или иной вид. *Хорошо выглядеть. Выглядеть больным».* И вот при таком полном расхождении двух глаголов словарь все же фиксирует и нечто общее. При каждом глаголе дается по одному фразеологическому (устойчивому) обороту: «Все глаза высмотреть (прост.) — то же, что все глаза проглядеть», и «Все глаза выглядеть (прост.) — то же, что все глаза проглядеть». Полное совпадение. Но ведь ясно же, что это не два разных фразеологизма, это одно и то же выражение, в котором мы с одинаковым правом можем употребить и тот и другой глагол. Значения фразеологизмов полностью совпадают, но их употребление находится уже за пределами литературной речи, это просторечное выражение. И все же это исконно русское, идущее издавна. Чужое значение, заимствованное, хотя и нелепое, образованное не по правилам, вторглось в язык, заняло все слово, совершенно вытеснило прежнее основное (корневое) значение слова. Значит, оно было очень важно, необходимо в языке. Конечно, *она хорошо выглядит* и *она хороша собой* — это совсем не одно и то же.

Известный поэт начала прошлого века И. И. Дмитриев в своих записках «Взгляд на мою жизнь» привел длинный список слов, которые, по его мнению, портили русскую речь:

«Ныне молодые писатели в стихах и прозе, за исключением достойных почитателей Карамзина, признают уже устарелым и его слог, правильный, ясный, обдуманный и благозвучный... *Требования века, дух времени, народность* — вот пышные и громкие слова, непрестанно ими произносимые... Ныне удивляются только *самородному, самостоятельному, гениальному.* Но я, признаюсь, ничего подобного и не замечаю в новейших наших

авторах. Гениальность и народность не в том состоит, чтоб *созданиями своими,* как они называют собственные нелепости, силиться потрясть наши нервы, возбуждать страх, ужас и отвращение, хотя они и того не производят, и щеголять языком простонародным или хватским, употребительным на биваках. Выпишем здесь для примера несколько нововведенных слов, с переводом оных на язык Ломоносова, Шишкова и Карамзина, и еще две-три фразы в последнем новейшем вкусе».

И дальше проводится сопоставление слов старых (образцовых, истинных) и новых (грубых, неправильных):

По-новому	По-старому
нисколько	нимало
проблескивает	просвечивает
суметь	уметь, сладить
колея привычки	Это слово чаще других употребляемо было ямщиками; значит же: прорез от колес по густой грязи
покаместь	доколе, пока
словно	как бы, подобно
поэтичнее	стихотворнее, живописнее (поэтичный и живописный — оба слова живут в языке; очень они близки по значению, но не мешают друг другу. — *В. О.*)
требовательный слог	хвастливый, затейливый
вдохновлять	вдыхать, одушевлять
вдохновлен страстями	воспламенен
безграничный	неограниченный, беспредельный (Дмитриеву кажется — зачем еще слово, когда уже два есть, и с тем же значением. — *В. О.*)
огромные надежды, огромный гений	Это прилагательное прикладывалось только к чему-нибудь материальному: огромный дом, огромное здание (как раз в те годы у многих слов развиваются новые, переносные значения; это слово обратило на себя внимание потому, что часто использовалось, и не всегда уместно. — *В. О.*)
ответить	отвечать (и, желая окончательно убить сарказмом своих противников, добавляет: «Так говаривали прежде только крестьяне и крестьянки в Кашире и других верховых городах»)
этих	сих, оных

пехотинец	пеший, сухопутный солдат, ратник
конник	конный, всадник (и снова не без ехидства замечает: «Нынешние авторы, любя подслушивать, оба свои названия переняли у рекрутов»)

Очень, конечно, важно, чтобы новое слово было безупречно в грамматико-словообразовательном и стилистическом отношении. Но нередко не это главное, и если слово необходимо, то оно рано или поздно пробьет себе дорогу, будет признано в языке.

В 1840 г. Н. И. Греч выступал против слов, которые составлены с «нарушением основных правил языка и смысла»: «Таковы, например, слова: *вдохновить, вдохновитель, вдохновительный.* Ими хотели перевести слова inspiré, inspirateur. Но эти слова варварские, беспаспортные, и места им в русском языке давать не должно. Они производятся от слова *вдохновение,* которое само есть производное от глагола *вдохнуть,* как *отдохновение* от *отдохнуть, столкновение* от *столкнуть;* но можно ли сказать: *отдохновитель, столкновитель*? Если можно, то говорите и *вдохновить*».

Вокруг нового слова разгорелся спор. Зачем нужен этот глагол, когда есть *воодушевлять?* Другие возражали, у *вдохновенный — вдохновить* такие же отношения, как и у *удивленный — удивить.* Снова возражение: *вдохновенный — вдохновить* — столь же нелепо, как *незабвенный* — «незабвенить», *надменный* — «надменить».

Ю. С. Сорокин, рассказав об этих спорах, заключал: «Вопросы словопроизводства не разрешаются лишь грамматическими аналогиями; они решаются в ходе развития языка взаимодействием установившихся грамматических правил и развертывающихся лексико-семантических процессов. Во всяком случае появление и закрепление в языке глагола *вдохновить* не было только случайностью и грамматической ошибкой... слово, впервые пущенное в ход Н. Полевым (известным журналистом той эпохи. — *В. О.*), уже у молодого поколения 30-х годов получило полное признание».

Полистаем популярный справочник по культуре речи, изданный в 1843 г., — «Справочное место русского слова». В предисловии сказано: «В «Справочном месте русского слова» собраны и исправлены ошибочные выражения, вкравшиеся в наш разговорный и письменный

язык...» И сразу же уведомление: «На ошибки простонародья не обращено здесь никакого внимания...» Какие же ошибки делала образованная публика? На первых же страницах натыкаемся на глагол *вдохновлять*. Сказано просто и резко: «**Вдохновлять.** Многие пишут: Поэта вдохновил вид природы. Слов *вдохновить* и *вдохновлять* нет в русском языке. Они встречаются только у писателей, которые не обращают внимания на произведение слов, употребляемых ими».

Другая трудность: «**Всходить.** Часто употребляют слово *входить* там, где должно говорить: *всходить*. Не раз при описании торжественных актов читали мы *профессор NN вошел на кафедру;* должно сказать *взошел на кафедру*. Напротив того, не следует говорить *я взошел в комнату,* когда входишь в нее не по лестнице».

Сейчас глаголы *всходить — входить* для нас не представляют трудностей. Нас беспокоит другая пара: *сходить — выходить*. Мы спорим, можно ли в трамвае, автобусе спрашивать стоящих впереди пассажиров: *Вы сходите на остановке?* Нашим предкам было проще — не было трамваев. *Сходить* приходится там, где есть ступеньки.

Еще проблема: «**Госпиталь...** не должно говорить: морская госпиталь, сухопутная госпиталь; говори: морской, сухопутный госпиталь». Сейчас с этим словом все ясно, зато появились новые — *тюль, толь, шампунь*. Впрочем, мужской род побеждает и здесь.

Трудностей много. Например: «**Долго.** Часто говорят: «Спектакль продолжался очень долго» или: «Как он долго длится» и т. п. Эти выражения неправильны; должно говорить: *спектакль очень продолжителен* или *Как он длится,* не прибавляя слова *долго;* при словах *продолжаться* и *длиться* слово *долго* подразумевается и совершенно излишне».

Действительно, слово *долго* и *длиться, продолжаться* вышли из одного источника, это слова однокорневые. *Долго длиться* — почти то же, что *масло масляное,* повторение однокоренных слов — тавтология. Иногда сейчас говорят: *своя автобиография,* хотя *авто-* (от греческого autos — 'сам') и значит 'свой'. Говорят *старый ветеран,* а это ошибка. В современном словаре-справочнике «Правильность русской речи» (сост. Л. П. Крысин и Л. И. Скворцов) сказано: «Слово *ветеран* восходит к латинскому veteranus (от vetus 'старый') и по значе-

нию связано с понятием опытности, большого стажа деятельности в чем-н. и т. д. Нельзя оправдать поэтому «усилительные» тавтологические сочетания *опытный ветеран,* а также *старый ветеран* или *старейший ветеран* (когда не имеется в виду возраст человека), встречающиеся в современной устной и письменной речи...»

Сейчас же мы говорим *Спор продолжался долго,* и никто не считает подобные фразы неправильными. Разумеется, ведь спор может продолжаться и недолго. Продолжительность может быть различной, и это различие необходимо бывает обозначить. По-видимому, меняется значение слов, меняется и наше к ним отношение. Кажется, еще совсем недавно считали грубой ошибкой выражения *монументальный памятник* (*монумент* — это и есть памятник), *букинистическая книга* (‘книжная книга’), *патриот своего отечества* (*патриот* — это человек, который любит родину) и др. Однако сейчас отношение к этим словам изменилось. Например, в том же справочнике читаем: «**Патриот** — ‘человек, любящий родину, преданный ей’. Это слово первоначально употреблялось без дополнения... Постепенно прямая соотнесенность слова с лат. patria ‘родина’ утратилась и в слове *патриот* основным смысловым стержнем стала идея любви, преданности чему-н. Так появились словосочетания *патриот родного города, патриот своего завода* и т. п. ... Такое расширение и видоизменение значения слова *патриот* делает вполне допустимым сочетания типа *патриот своей родины, патриот своего отечества,* которые встречаются в устной речи и в печати».

А вот еще одна поучительная аналогия. Справочник прошлого столетия предписывал: «**Характер.** Часто говорят: «вот человек *с характером*», или: «в этом деле вы показали много *характера*». С каким же характером? много характера — какого же? можно спросить в этих случаях, потому что характер может быть твердый, слабый, нерешительный и т. д. Должно говорить: человек с твердым характером; показали много *твердости характера*».

Как это похоже на рассуждения современных любителей-филологов (нелингвистов): те же упреки, те же доводы против ряда слов, например, против слова *качественный.* В пособии по культуре речи читаем: «Один пропагандист сказал, например, что *столовые борются за качественные обеды.* Он забыл, что существуют сло-

ва *доброкачественный* и *недоброкачественный*, и нельзя говорить, что это *некачественная или качественная работа*, а надо говорить, что *это работа плохого качества, а это работа хорошего качества*». Увы! *Столовые борются за доброкачественные обеды* было бы еще более нелепо. И дело не в том, как говорят другие, что качество может быть плохим и хорошим. У языка своя логика. Вкус человека тоже может быть плохим и хорошим, но если говорят *человек со вкусом*, это значит — с хорошим. Когда говорят *борьба за качество*, ни у кого не возникает сомнений, о каком качестве идет речь.

Мнение лингвистов, выраженное в вышеназванном современном словаре-справочнике, таково: «В современном языке появление слова *качественный* с оттенком положительного свойства было вполне закономерным. Ср. *квалифицированный* (т. е. высокой квалификации), *сознательный* (т. е. высокой сознательности) и т. п. По тому же образцу: *качественный* (т. е. высокого качества). Кроме того, прилагательное *качественный* может иметь и особый оттенок смысла: 'удовлетворяющий определенным требованиям, обладающий необходимыми качествами' и т. п. Таким образом, нет никаких оснований осуждать само наличие слова *качественный* в современном русском языке». Это, конечно, не значит, что словом *качественный* можно во всех случаях заменить слова *хороший, отличный* и др. *Качественный обед* или *качественный пирог* можно сказать только в шутку. Каждое слово хорошо на своем месте.

Любопытно, что в разговорной речи людей прошлого века слово *качество* тоже не было вполне нейтральным, а значило — 'плохое качество', 'недостаток', 'порок'. Показателен диалог в одной из пьес А. Н. Островского:

Серафима Карповна. Я хочу замуж идти...
Карп Карпыч. А чьих он?
Серафима Карповна. Прежнев. Он благородный, хорошей фамилии, может место хорошее получить...
Карп Карпыч. Может, качества какие есть?
Серафима Карповна. Качеств за ним никаких не слыхать.

Наконец, еще одна удивительная вещь. В справочнике прошлого столетия указывалось: «**Одеть, надеть.** Часто не обращают внимания на различие между этими словами. *Одеть* говорится о предметах одушевленных;

например: *одеть человека. Надеть* можно сказать только о неодушевленном предмете, напр.: *надеть шапку, надеть сапоги.* Поэтому не должно говорить, например: *одел* шубу; правильно: *надел* шубу».



И в 1960 г. А. Твардовский говорил: «Я разделяю чувства преподавателя языка, пусть даже несколько педанта, который мучительно переносит те языковые неряшливости, искажения, мелькающие, к сожалению, даже и в большой печати. Я сам, как песчинку в хлебе, попадающую на зуб, не выношу слова *одел шапку,* а так упорно почему-то пишется вместо *надел.* Мы с вами знаем, что можно одеть ребенка, одеть кого-то, а шапку — только надеть, как и полушубок, как и сапоги».

Много изменилось в языке, многие ошибки исчезли, перестали быть ошибками, появились новые. А эта сохраняется «упорно». Почти полтора столетия словари, учебники, справочники указывают на нее, гонят ее, и все напрасно. Об этой ошибке сказано больше, чем о какой-либо другой, мимо нее не проходит ни одно пособие по культуре речи, но ошибку легко найти и в газетах, книгах, в языке радио, в речи лекторов, в разговоре. И вот у лингвистов возникло подозрение: а может быть, это уже и не ошибка, может быть, это уже норма? Мнения разделились. Вопрос так и остается вопросом.

Какие же уроки можно извлечь из всего сказанного? Разные. Например, ясно, что бессмысленно бороться против того, что необходимо и что уже достаточно прочно вошло в язык. Рассуждения пуристов часто смешны. Но ясно также, что не следует спешить отказываться от старого, хвататься без оглядки за все новое. Очень быстрые изменения в языке — это плохо: распадается «связь времен», поколений. В прошлом накоплено столько богатств, что ключ, открывающий доступ к ним, надо беречь. В оценке возможностей слова приходится быть осторожным. Нельзя что-то одно, например, словообразовательно-грамматическую правильность, распространен-

ность, традиции употребления и т. п., считать единственным и на основании этого допускать слово в речь или изгонять. В каждом конкретном случае важно внимательно присмотреться к слову, взвесить все «за» и «против», прежде чем вынести приговор.

СРЕДСТВО СКРЫВАТЬ МЫСЛИ

Приходилось ли вам решать такие задачи: как разделить три яблока между тремя девочками так, чтобы каждая получила по целому яблоку и чтобы при этом одно яблоко осталось в корзине? Это не математическая задача, хотя и помещается она в сборниках задач по математике. Это языковая задача. Делить тут нечего: надо дать двум девочкам по яблоку, а третьей дать корзину, в которой лежит последнее яблоко. Оказывается, в этой простой задаче, вернее, в способах ее языкового выражения скрыт особый, непривычный смысл. Ведь когда мы слышим: *Одно яблоко должно остаться в корзине,* мы понимаем, что это яблоко не получает ни одна из девочек. Если при раздаче кто-то получает часть предметов, а часть остается, то остаток так остатком и называется, потому что его никто не получает. Таков смысл слов, но не таков смысл действий. В реальной действительности, конечно, яблоки можно раздавать, вынимая их из корзины или не вынимая.

Приходится только удивляться, как иногда при точности и определенности значения смысл слова может быть неопределенным и расплывчатым. Так, обычное слово *нормально,* например, в высказывании *Работа идет нормально* может относиться к разным фактам — все зависит от того, что говорящий понимает под словом *нормально.* То, что ему кажется нормальным, в действительности может быть плохим (или хорошим).



На вопрос: «Что такое новое искусство?» — одни отвечают: это новая форма;

а другие — это новое содержание. Кто прав? Можно согласиться и с теми, и с другими; все зависит от того, в каком смысле «форма», в каком смысле «содержание».

Форма в искусстве содержательна. Содержание неразрывно связано с формой. Поэтому не спешите зачислять в разряд формалистов человека, который говорит о значении формы.

Когда говорят *Никто не возражал,* это не всегда значит, что возражений не было, что все были согласны. Возможно, что те, у кого могли быть возражения, просто не захотели по каким-то причинам выступать.

Мы готовы легко одобрить, принять то, что полезно, но иногда целесообразно спросить: «полезно для кого?»

Древние греки, готовясь к какому-либо серьезному походу, вопрошали богов, обращаясь к ним за советом. Они отправлялись в Дельфы, в храм Аполлона, и оракул сообщал им волю бога. Так, могущественный лидийский царь Крез, который «владел великими богатствами и повелевал множеством людей» (ср. пословицу *богат, как Крез*), задумав пойти войной против персов, отправил в Дельфы послов, и они вопросили оракулов: «Крез, царь лидийцев и других народов, считая, что здесь он получил <ранее> единственно правдивые на свете прорицания, послал вам эти дары... Теперь царь спрашивает вас: выступать ли ему в поход на персов и искать ли для этого союзников». Рассказывая об этом, Геродот пишет: «Так вопрошали послы, а оба оракула дали одинаковый ответ и объявили Крезу: «Если царь пойдет войной на персов, то сокрушит великое царство...» А Крез, получив прорицания оракулов и узнав их содержание, чрезвычайно обрадовался. Теперь царь твердо уповал, что сокрушит царство Кира».

Уверенный в своей победе, Крез перешел пограничную реку Галис, но потерпел жестокое поражение. Персы овладели главным городом — Сардами, а сам Крез попал в плен. Кир весьма милостиво обошелся со своим недавним врагом. Однако Крезу не давала покоя одна мысль — как могли боги так жестоко обмануть его? И вот, по свидетельству Геродота, Крез обращается к персидскому царю: «Владыка! Ты окажешь мне величайшее благодеяние, позволив послать эллинскому богу, которого я чтил превыше всех других богов, вот эти

оковы и спросить его: неужели у него в обычае обманывать своих друзей?»

Вновь отправились в Дельфы послы с поручением Креза, только теперь не дары — оковы возложили они на пороге святилища. И спрашивали теперь не о будущем; они спросили, «не стыдно ли было богу побуждать Креза прорицаниями к войне с персами, чтобы сокрушить державу Кира, отчего и получились такие вот «победные дары» — спросили с горькой иронией и указали при этом на оковы. И добавили: «В обычае ли у эллинских богов проявлять неблагодарность?»

Вскоре последовал ответ: предсказание сбылось точно; просто Крез не понял слов *разрушит великое царство*. «Если бы Крез желал принять правильное решение, то должен был отправить послов вновь вопросить оракулов: какое именно царство разумеет бог — его, Креза, или Кира. Но так как Крез не понял изречения оракула и вторично не вопросил его, то пусть винит самого себя». Дельфийские жрецы были великими мастерами двусмысленных формулировок: что бы ни случилось, они всегда были правы.

Язык — великолепное средство выражать мысли, но, как это ни парадоксально, легко превращается в средство скрывать их. Умением хитро прятать суть дела за слово отличались не только служители бога, но и служители «денежного мешка».

Летом 1917 г. в газете «Правда» появилась небольшая заметка В. И. Ленина «Как прячут прибыли господа капиталисты *(К вопросу о контроле)*». Существуют, конечно, десятки способов прятать прибыли. Финансовые махинации господ капиталистов весьма многообразны. В. И. Ленин разоблачил один из самых хитрых и неожиданных — способ прятать прибыли за слово. Оказалось, чтобы скрыть прибыль, достаточно назвать ее как-нибудь по-другому:

Именно в так называемый резерв или резервный капитал сплошь да рядом записывают прибыль, чтобы скрыть ее. Если я, миллионер, получил 17 млн. прибыли, из них 5 млн. «резервировал» (т. е., по-русски, отложил про запас), то мне достаточно записать эти 5 млн. как «резервный капитал», и дело в шляпе! Все и всякие законы о «государственном контроле», «государственном обложении прибыли» и прочее *обойдены!!*

Конечно, для того чтобы надежно скрыть суть дела, нужно выбрать слово достаточно «туманное», абстракт-

но-книжное, изысканное, возможно менее употребительное и менее понятное, далекое от конкретно-бытовой сферы. В этом отношении, например, слова *резерв, резервировать* очень удобны как иностранные, сугубо книжные, с достаточно «широким» смыслом. Именно поэтому В. И. Ленин, стремясь разоблачить господ капиталистов, не просто вскрывает истинное содержание слова *резервировать,* но и заменяет его общепонятным синонимическим выражением *отложил про запас.*

Чтобы скрыть прибыль, можно было найти и другие слова. В. И. Ленин отмечает, что так и поступали капиталисты:

Далее. В отчете имеется еще сумма в 3,8 миллиона рублей — «переходящие суммы». «Что это за переходящие суммы, — пишет нам товарищ, — трудно определить лицу, не принимавшему непосредственного участия в деле. Можно сказать только одно: под названием «переходящих сумм» можно скрыть, при составлении отчета, часть прибыли, а потом оттуда перенести «куда следует».

Границы слова оказываются зыбкими, колеблющимися. Значение слова как бы расплывается. И чем дальше слово от конкретно-бытового употребления, чем оно абстрактнее, тем неопределеннее. Это оказывается нередко причиной ожесточенных споров. Особенно часто по-разному осмысляются философские и политические термины.

Так в статье «О вреде фраз» (1917) В. И. Ленин разоблачал фразерство меньшевиков и эсеров:

Господа герои фразы! господа рыцари революционного краснобайства! Социализм требует отличать демократию капиталистов от демократии пролетариев, революцию буржуазии и революцию пролетариата...

Министериалисты народники и меньшевики фразерствуют о «демократии» вообще, о «Революции» вообще, чтобы *прикрыть* этим свое соглашение с империалистской, на деле уже контрреволюционной, буржуазией своей страны...

Об этом же В. И. Ленин предупреждает во множестве статей и заметок. Так, в статье «О твердой революционной власти» читаем:

Надо только, чтобы фраза не темнила ума, не засоряла сознания. Когда говорят о «революции», о «революционном народе», о «революционной демократии» и т. п., то *в девяти*

случаях из десяти это лганье или самообман. Надо спрашивать, о революции *какого класса* идет речь? о революции *против кого?*

Последите за разговором, и вы убедитесь, как часто приходится задавать вопрос: «А в каком смысле?», «Что вы этим хотите сказать?». Уточняйте значения слов, говорил философ, и вы избавите мир от половины заблуждений. Один из героев А. Франса, господин Бержере, преподаватель филологического факультета, замечает: «Люди по большей части ссорятся из-за слов. Из-за слов они легче всего убивают и идут на смерть». А другой его герой рассуждает: «Господа, мы ничего не знаем. Причины нашего незнания многочисленны, но я убежден, что главная из них кроется в несовершенстве человеческой речи. Смутность наших понятий порождается туманностью слов. Если бы мы больше заботились об уточнении терминов, с помощью которых мы рассуждаем, наши мысли были бы отчетливей и увереннней».

В романе Чернышевского «Что делать?» скупой и недалекой матери Веры Павловны понравились рассуждения Лопухова о выгоде. И тот и другая стремятся к выгоде, говорят о выгоде. Но автор замечает: «Если бы, например, он стал объяснять, что такое «выгода», о которой он толкует с Верочкою, быть может, Марья Алексеевна поморщилась бы, увидев, что выгода этой выгоды не совсем сходна с ее выгодою...»

В жизни мы часто сталкиваемся с такими фактами, когда об одном и том же говорят по-разному. Например, говорят о *нетактичности* человека, когда вы обозначили бы его поведение словом *развязность*. В зависимости от нашего отношения к человеку мы говорим о нем: *бережливый* или *жадный, экономный* или *скупой, осторожный* или *трусливый, спокойный* или *бездушный, старается* или *усердствует* и т. д. Эти синонимы нередко используются как антонимы, слова с противоположным смыслом.

Но «лжет» ли при этом язык или говорящий? Виноват ли язык? Есть ли что-то заложенное в самом языке, позволяющее скрывать мысль?

Эти вопросы вплотную подводят к изучению механизма словоупотребления, к природе слова. Что в самом языке может привести к двусмысленности, к различному пониманию, восприятию речи?

Анатомируя слово, мы прежде всего открываем двойственность его природы; его способность в одно и то же

время обозначать и конкретный предмет, и понятие об этом предмете.

Например, слово *дом* может обозначать конкретное, данное строение в совокупности всех его индивидуальных признаков и общее понятие о доме, любой дом — каменный, деревянный, высокий, низкий — дом вообще. Словом *собака* мы называем и конкретное животное, и вообще всех собак. Может быть, это частный или временный недостаток языка? Может быть, это исчезнет с развитием языка? Нет, такая двойственность кроется в самой природе языка. Без способности слова обобщать мы просто не могли бы пользоваться языком: ведь для каждого конкретного предмета потребовалось бы свое, особое, непохожее на других слово. Без абстрагирования, без обобщения, которое обеспечивает язык, невозможно было бы человеческое мышление того уровня, которого мы достигли, невозможно было бы познание.

В. И. Ленин в заметке «К вопросу о диалектике» писал: «...отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное... Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно входит в общее и т. д. и т. д.».

Далее. Многозначность слова тоже является источником парадоксов, причиной недоразумений, непонимания. Вспомним эпизод из «Обломова». Счастливый Илья Ильич пишет пламенное письмо Ольге. Затем он велит Захару: «Когда придет человек, отдай ему это письмо к барышне». Обломов в нетерпении, с замиранием сердца прислушивается он к стуку двери. Отчаявшись, он кличет Захара:

— Не было никого? — спросил он. — Не приходили?
— Нет, приходили, — отвечал Захар.
— Что же ты?
— Сказал, что вас нет: в город, дескать, уехали.
Обломов вытаращил на него глаза.
— Зачем же ты это сказал? — спросил он. — Я что тебе велел, когда человек придет?
— Да не человек приходил, горничная, — с невозмутимым хладнокровием отозвался Захар.

Обломов в отчаянии.

Впрочем, многозначно чуть ли не каждое слово. Так, например, в словосочетании *каменный дом* одно значение слова *дом,* в *хлопотать по дому* — другое, в *торговый дом* — третье и т. д. Случайно это или закономерно? Безусловно, это закономерность, которая содержится в природе языка. (Мы не говорим уже об омонимах: *ключ* — 'источник' и 'дверной ключ' и др.).

Слово не только многозначно, но и, так сказать, «многосмысленно». Например, *новое платье* — это может быть: а) не бывшее в употреблении, б) неизвестное до сих пор говорящему, в) только что купленное, г) платье, только что заменившее другое, д) платье с новым рисунком, е) платье нового фасона, цвета и т. п.

Важно учитывать и соотношение разных значений и оттенков в слове. Скажем, *субъективный* может в каких-то значениях совпадать со словом *индивидуальный,* а может иногда сильно расходиться. *Недобрый* — не обязательно 'злой'; вам говорят: *Петров человек не добрый,* вы можете подумать злой, а имелось в виду, что он и не добрый, и не злой. Могут быть и иные осмысления.

Большую роль также играют разного рода ассоциации, которые вызывает слово. Так, один человек говорит: *Такси — это великолепно,* имея в виду быстрый и удобный вид передвижения, а другой может с этим не согласиться, имея в виду высокую стоимость проезда и проч. Это одно из проявлений очень важной особенности речи, которая порождена тем, что собеседники могут рассматривать один факт, явление в разных отношениях. Человек, например, думает о том, как хорошо иметь собственный транспорт, не зависеть от других, и говорит: *Собственная машина лучше, чем такси.* Собеседник вспоминает, что машина требует большого ухода, отнимает много сил, времени и средств, и возражает: *Такси лучше, чем собственная машина.* Разгорается спор, в котором может и не родиться истина. Очень часто в быту спорят «о разных вещах» или об одном предмете, но рассматриваемом в разных отношениях.

К недоразумениям могут вести не только смысловые нюансы. Важно учитывать те оценочные моменты, которые заложены в слове вообще или появляются в речи. Когда мы говорим, что *магазины наводнены синтетикой,* мы не просто сообщаем о факте, но и высказываем к нему свое отрицательное отношение (*наводнены*). Слушатели понимают, что говорящий недоволен подобным

«изобилием». Часто эмоциональная оценка выражается стилистически окрашенным словом. Сравните, в частности, объективную констатацию факта: *Он ни с кем не считался* — и резкую оценку: *Да он вообще зарвался.*

Усиливая или ослабляя эмоционально-оценочную сторону высказывания, говорящий может менять освещение факта, подавать его в «ином свете», т. е. скрывать нежелательный момент. Это может быть даже хитрой уловкой в споре.

Когда двое спорят и один утверждает, что X — поэт, а другой, что X — не поэт, оба могут быть правы: только первый употребляет слово *поэт* в обычном, нейтральном смысле — 'автор стихотворных произведений', а другой — в оценочном: 'плохой поэт, графоман'. Третий может прозаика назвать поэтом и т. д., четвертый может назвать поэтом даже человека, не имеющего отношения к литературе, а просто мастера своего дела.

Показательны в этом отношении заметки Ф. М. Достоевского в «Дневнике писателя» (1876). Речь идет о нашумевшем деле Кронеберга. Суть дела писатель передает так: «Напомню дело: отец высек ребенка, семилетнюю дочь, слишком жестоко, по обвинению — обходился с нею жестоко и прежде. Одна посторонняя женщина, из простого звания, не стерпела криков истязаемой девочки, четверть часа (по обвинению) кричавшей под розгами: «папа! папа!» Розги же, по свидетельству одного эксперта, оказались не розгами, а «шпицрутенами», т. е. невозможными для семилетнего возраста».

Преступление налицо, отвергнуть, отрицать факт невозможно, участь обвиняемого, казалось, решена. Но выступает адвокат Спасович. Он не намерен защищать, он хочет только объективно разобраться в деле, исследовать все обстоятельства. И вот Кронеберг оправдан. Достоевский внимательно, детально рассматривает речь Спасовича и выявляет те «ловкие приемы», которые использовал защитник. Достоевский отмечает, что адвокат слово *истязание* заменил словом *наказание*. Смысл как будто один. А эффект различный. *Наказание* — это нейтральное обозначение сечения розгами. Наказание может быть и оправданным и необходимым. В слове *истязание* заключена оценка, в нем скрыт образ мучителя, изверга. *Истязание* — такое наказание, которое мы считаем несправедливым, чересчур жестоким, которое вызывает в нас протест, чувство возмущения. Спасович

устраняет эту нежелательную для него оценку, в связи с чем Достоевский иронически замечает: «То есть, видите ли: «наказание», а не «истязание», сам говорит, значит, всего только родного отца судят за то, что ребенка побольнее посек. Эк ведь время-то пришло!»

Спасович, говоря о девочке, старается использовать общие обозначения, и Достоевский ловит его на этом: «Но верх искусства в том, что г. Спасович совершенно конфисковал лета ребенка! Он все толкует нам о какой-то девочке, испорченной и порочной... и совершенно как бы забыл сам (а мы вместе с ним), что дело идет всего только об семилетнем младенце, и что это самое *дранье,* целую четверть часа, этими девятью рябиновыми «шпицрутенами», — не только для взрослого, но и для четырнадцатилетнего было бы наверно в девять раз легче, чем для этой жалкой крошки!» Обратим внимание, что если Спасовичу важно устранить «оценочный момент», избежать эмоций, если ему нужны «нейтральные» слова — *наказание, девочка,* то Достоевский, напротив, взывает к нашему сочувствию и тот же факт обозначает резким, сильным, стилистически окрашенным словом *дранье,* он говорит о *жалкой крошке,* о *младенце* и *шпицрутенах* (Спасович — о розге; это также не ускользнуло от внимательного взгляда писателя: «Так все дело стало быть идет всего только о розге, а не о пучке розг, не о «шпицрутенах». Вы вглядываетесь, вы слушаете, — нет, человек говорит серьезно, не шутит. Весь содом-то стало быть подняли из-за розочки в детском возрасте и о том: употреблять ее или не употреблять»).

Заметим попутно, что двусмысленность может создаваться и синтаксической формой, структурой предложения: *Директору надо указать на недостатки* — т. е. директор должен указать или кто-то должен указать директору: такого типа предложения всегда двусмысленны.

Здесь два существенных момента. Во-первых, предметы и явления действительности обладают целым набором признаков — форма, цвет, материал, размер и др. Во-вторых, связи предметов многообразны. Говорящий может иметь в виду один признак, а слушатель может воспринять другой. Так, некто сообщает: *У Ивановой сын скоро кончит школу.* И эта фраза может иметь смысл простой информации. Но она может и осложняться, иметь особый, дополнительный смысл в зависимости от того, о чем шла речь — о том, есть ли у Ивановой де-

ти вообще, или же о том, сколько Ивановой может быть лет.

Кроме того, в речи мы часто опускаем отдельные моменты, особенности и т. п., которые как бы подразумеваются, которые мы считаем само собой разумеющимися. Например: *Вода кипит при 100° С*. Верно, но только в нормальных условиях. Но то, что для нас «само собой разумеется», для другого может не быть таковым. Особенно важно это иметь в виду при обучении. Первоклассник не может решить простую задачу — разделить три на два. Он плачет: не делится. И это суждение истинно при условии: не делится без остатка. И это суждение ложно, если иметь представление об общих правилах деления, о дробях и т. д. В большинстве случаев мы не пользуемся такими уточнениями, предполагаем, что они излишни, что собеседнику все известно или может быть ясно из контекста, ситуации и т. п.

Связи и отношения элементов действительности многообразны, а способы выражения нередко одинаковы. Возьмем классический пример логики:

1. Прямоугольные ромбы суть квадраты.
2. Писатели суть литераторы.
3. Кама и Ока суть притоки Волги.

Структура этих трех предложений одна, а выражаемые отношения различны. В первом предложении налицо «отношения равнозначности» (прямоугольные ромбы — это то же, что квадраты, т. е. множества совпадают). Во втором предложении отношения иные: объем понятия ‘литераторы’ шире, чем объем понятия ‘писатели’: к литераторам можно отнести и неписателей (критиков, поэтов и т. п.). Здесь можно говорить об «отношении включения» одного множества (предметов) лиц в другое. В третьем предложении указывается особый характер отношения Камы и Оки к Волге — это не равно значность и не включение, а связь элементов множества с множеством.

Уже из приведенных примеров видно, как велика в речи роль контекста, ситуации. Любопытную иллюстрацию можно извлечь из романа Чернышевского «Что делать?»:

...Марья Алексевна, с самого начала слушавшая Лопухова серьезно, обратилась к Верочке и сказала: «Друг мой, Верочка, что ты все такой букой сидишь? Ты теперь с Дмитрием Сергеичем

знакома, попросила бы его сыграть тебе в аккомпанемент, а сама бы спела!», и смысл этих слов был: «Мы вас очень уважаем, Дмитрий Сергеич, и желаем, чтобы вы были близким знакомым нашего семейства; а ты, Верочка, не дичись Дмитрия Сергеича...» — Это было для Верочки и для Дмитрия Сергеича, — он теперь уж и в мыслях Марьи Алексевны был не «учитель», а «Дмитрий Сергеич», — а для самой Марьи Алексевны слова ее имели третий, самый натуральный и настоящий смысл: «Надо его приласкать; знакомство может впоследствии пригодиться, когда будет богат, шельма»; это был общий смысл слов Марьи Алексевны для Марьи Алексевны, а кроме общего, был в них для нее и частный смысл: «приласкавши, стану ему говорить, что мы люди небогатые, что нам тяжело платить по целковому за урок».

Вот сколько смыслов имели слова Марьи Алексеевны.

Ситуация, отношение фактов реальной действительности может выражаться различными языковыми средствами. Вообще, соответствие «содержания» и «выражения» относительно. Один языковой элемент может иметь несколько назначений, может выполнять различные функции. Возьмем, например, союз *и*. Он служит для соединения слов и предложений. Но отношения соединяемых элементов могут быть очень разными. Сначала покажем механизм приема, а потом прием «сокрытия мыслей» в действии. Однажды, выступая по радио, директор одной из лучших здравниц сказал: *К обеду у нас подают минеральную воду и сок.* И эта как будто совсем простая и естественная фраза вызвала недоумение слушателей: подают ли там сразу и воду и сок (так поняли одни); подают ли воду или сок, т. е. в значении 'и' или в значении 'или' употреблен союз *и*.

Знакомый вам говорит: *Если получу премию, то куплю мотоцикл и поеду на море.* О чем здесь идет речь: о том ли, что товарищ надеется сделать две приятные для него вещи — купить мотоцикл и отдохнуть на море без мотоцикла (два действия не связаны между собой); о том ли, что товарищ намеревается, купив мотоцикл, поехать на нем на море (действия связаны). Кроме того, могут быть дополнительные «акценты»: товарищ говорит, что получит двойное удовольствие от поездки по хорошим местам на мотоцикле, что мотоцикл даст ему возможность наконец попасть на море и т. д.

В рекламном объявлении сказано: *Новое изделие можно использовать и как украшение, и как предмет*

обихода. И снова неясно, подразумевается значение 'и' или значение 'или'.

Другую особенность сочетаний с союзом *и* хорошо иллюстрирует эпизод из романа Н. Г. Чернышевского: Вера Павловна, получившая известие от Лопухова о том, что он «сходит со сцены», убита горем, Рахметов приходит, чтобы ее утешить и помочь. Она не в силах рассказывать ему о своем горе, но Рахметов предупреждает: *...я видел Александра Матвеича* (Кирсанова. — *В. О.*) *и знаю все.* Как можно понять подобное заявление? Кажется, только так: Кирсанов, встретив Рахметова, все ему рассказал. Именно так и понимает эти слова героиня романа. Но это неверно. Такое построение позволяет Рахметову скрыть очень важный факт, о котором он позже рассказывает Вере Павловне:

Я вам сказал, что встретился с Александром Матвеичем и что знаю все. Это действительно правда. Я точно виделся с Александром Матвеичем, и точно я знаю все. Но я не говорил того, что я знаю все от него, и я не мог бы этого сказать, потому что действительно знаю все не от него, а от Дмитрия Сергеича, который просидел у меня часа два...

Мы предполагаем, что два факта непосредственно связаны, находятся в отношении «причина — следствие» (т. е. 'знаю, потому что встретил'), а они фактически независимы. Рассуждение «после того, значит, вследствие того» — логическая ошибка. Союз *и* как способ выражения не позволил нам ее увидеть.

Любопытным примером того, как можно использовать двусмысленность, замаскировать или сознательно не видеть истинного смысла высказывания, является диалог между Иудушкой и Петенькой в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». В конце бурного объяснения с сыном Иудушка восклицает:

— ...Стало быть, по-твоему, я убил Володеньку?
— Да, вы!
— А по-моему, это не так. По-моему, он сам себя застрелил. Я в то время был здесь, в Головлеве, а он — в Петербурге. При чем же я тут мог быть? как мог я его за семьсот верст убить?
— Уж будто вы и не понимаете?
— Не понимаю... видит бог, не понимаю!
— А кто Володю без копейки оставил? кто ему жалованье прекратил? кто?

— Те-те-те! так зачем он женился против желанья отца?

— Да ведь вы же позволили?

— Кто? я? Христос с тобой! Никогда я не позволял! Нннникогда!

— Ну да, то есть вы и тут по своему обыкновению поступили. У вас ведь каждое слово десять значений имеет: поди угадывай!

— Никогда я не позволял! Он мне в то время написал: хочу, папа, жениться на Лидочке. Понимаешь: «хочу», а не «прошу позволения». Ну, и я ему ответил: коли хочешь жениться, так женись, я препятствовать не могу! Только всего и было.

— Только всего и было, — поддразнивает Петенька, — а разве это не позволение?

— То-то, что нет. Я что сказал? я сказал: не могу препятствовать — только и всего. А позволяю или не позволяю — это другой вопрос. Он у меня позволения и не просил, он прямо написал: хочу, папа, жениться на Лидочке — ну, и я насчет позволения умолчал. Хочешь жениться — ну, и Христос с тобой! Женись, мой друг, хоть на Лидочке, хоть на разлидочке — я препятствовать не могу!

— А только без куска хлеба оставить можете. Так вы бы так и писали: не нравится, дескать, мне твое намерение, а потому, хоть я тебе не препятствую, но все-таки предупреждаю, чтоб ты больше не рассчитывал на денежную помощь от меня. По крайней мере, тогда было бы ясно.

— Нет, этого я никогда не позволю себе сделать! Чтоб я стал употреблять в дело угрозы совершеннолетнему сыну — никогда! У меня такое правило, что я никому не препятствую! Захотел жениться — женись! Ну, а насчет последствий — не прогневайся! Сам должен был предусматривать — на то и ум тебе от бога дан. А я, брат, в чужие дела не вмешиваюсь.

Как это мы нередко видим, при желании можно извлечь из слова нужный смысл для оправдания собственных действий, поступков. Персонаж прямо указывает: «У вас ведь каждое слово десять значений имеет». И в самом деле, сначала Иудушка ни за что не хочет признать переносного значения глагола *убить*. Он знает только прямое значение — и точно: за семьсот верст убить (в прямом значении) тогда было нельзя. Его замечание *я был здесь, в Головлеве, а он — в Петербурге* как раз должно подчеркивать конкретный смысл глагола. Собеседник его, соответственно, должен был выдвинуть иные признаки, усиливающие переносный смысл глагола: *без копейки оставил, жалованье прекратил.* А затем спор разгорается с новой силой, идет толкование, интерпретация просьбы Володеньки и ответа Иудушки. Если подходить строго, формально-логически,

Иудушку можно и оправдать. Действительно, *хочу* не значит 'прошу', и *не препятствую* не значит 'позволяю'. Но в языке, в речи отношения языковых единиц сложнее, многообразнее. В зависимости от обстановки, ситуации, тех отношений, в которые вступают друг с другом говорящие, смысл фраз меняется, варьируется.

Восклицание *Свет!* может означать и то, что вы заметили свет (например, в окне или в поле), или просьбу посветить, или приказ дать световой сигнал, и др. Замечание *На полках пыль* может быть и простой констатацией факта, и просьбой протереть, и выговором, и т. д. Когда сын пишет отцу о намерении жениться, то он вправе ожидать в ответ выражение согласия или несогласия, одобрения или возмущения и т. п. Обычный (возможный) ответ и отражается в реплике сына: «Так вы бы так и писали: не нравится, дескать, мне твое намерение, а потому, хоть я тебе не препятствую, но все-таки предупреждаю...» Но Иудушку такой общечеловеческий смысл никак не устраивает, ему нужно, чтобы сын его неправильно понял (при сохранении формальной правоты) — и все это дополняется игрой в благородство — он не позволит себе «употреблять в дело угрозы совершеннолетнему сыну — никогда!!» Как опасно иметь дело с подобными людьми, как важно видеть и понимать подобные уловки!

Об одном и том же можно сказать по-разному. Пусть кажется, что говорится одно и то же. Будьте внимательны — не может не быть оттенков мысли. Вам говорят: *Пойдите и спросите у него, это он сделал или нет.* Вы возвращаетесь. Вы можете ответить: *Он этого не делал* или: *Он сказал, что он этого не делал.* На первый взгляд оба утверждения одинаковы. Более того, второе, кажется, более точно, объективно передает ответ. Но в этих вариантах кроются дополнительные смыслы. В первом случае скрытый смысл «Я этому верю», во втором — «Я этому не верю» ('он утверждает, что якобы он этого не делал').

И здесь мы подходим к ряду важных научных тем — к проблемам соотношения языка и действительности, к тому, как обозначение явления влияет на действия людей, как ситуация определяет ваше понимание высказывания (отчасти об этом шла речь ранее). Любопытные наблюдения сделал американский лингвист Бенджамен Уорф. Он писал: «Я столкнулся с одной из сторон этой

проблемы... в области, обычно считающейся очень отдаленной от лингвистики. Это произошло во время моей работы в обществе страхования от огня. В мои задачи входил анализ сотен докладов об обстоятельствах, приведших к возникновению пожара или взрыва. Я фиксировал чисто физические причины, такие, как неисправная проводка, наличие или отсутствие воздушного пространства между дымоходами и деревянными частями зданий и т. п., а результаты обследования описывал в соответствующих терминах». И вдруг Б. Уорф заметил, что нередко причиной пожара являлось... слово. Как же это проявлялось?

На складе, увидев надпись *Бочки с бензином* или *Газолиновые цистерны,* конечно, никто не станет курить, не бросит горящую спичку. Но в месте, где находятся просто бочки или пустые бочки из-под бензина и где висит соответствующая надпись, например *Пустые газолиновые цистерны,* люди ведут себя свободно — ведь пустые, а *пустой* значит 'ничем не заполненный, полый'. Но именно эти-то пустые бочки из-под бензина и могут стать причиной пожара: смесь паров бензина с воздухом взрывоопасна.

В теплой воде приятно купаться, но в воду, температура которой даже +15°С, полезет не каждый — холодно, хотя и 15° *тепла.*

Отношения предметов и явлений в реальной действительности сложны и многообразны. Эта сложность может породить разное осмысление слова, может выделить те или иные смысловые нюансы, которые не всегда прямо отражаются в языке. Вот три предложения: 1. *Судья независим и подчиняется только закону.* 2. *Судья может ошибаться, как и любой человек.* 3. *Судья живет в соседней квартире.* Во всех предложениях одно слово — *судья.* Казалось бы, слово с одним значением. А смысл разный. В первом предложении слово предельно абстрактно, выражено, как говорят логики, «содержание понятия». Во втором предложении имеется в виду каждый, любой судья, их совокупность, выражается «объем понятия». В третьем речь идет о единичном, конкретном человеке, об определенном лице. То есть каждый раз смысл слова варьируется, видоизменяется. Но даже когда смысл как будто один, возможны его оттенки. Например, в предложениях *Пушкин — великий поэт* и *Пушкин был сослан* говорится о конкретной личности,

но в первом речь идет о Пушкине как поэте, во втором о Пушкине-человеке в определенный период его жизни.

Несколько молодых талантливых физиков забрались зимой в горы, катались на лыжах, отдыхали и беседовали. Заговорил Нильс Бор:

— С одной стороны, мы формулируем законы, которые не похожи на законы классической физики, с другой — мы используем классические понятия не задумываясь. И мы должны это делать, потому что связаны языком.

— Надо учитывать только основное, прямое значение, — возражает Вернер Гейзенберг. — Про уважаемого человека говорят, что в комнате светлеет, когда он входит, но ясно, что фотометр в этом случае не зарегистрирует отклонения.

— Мы никогда точно не знаем, — продолжает развивать свою мысль Нильс, — что значит слово. Смысл того, что мы говорим, зависит от связей слов в предложении, от обстановки, от бесчисленных обстоятельств, которые просто невозможно перечислить. ...Так в обычном языке и в языке поэтов. И до известной степени это касается и языка естествознания. Именно в атомной физике природа научила нас, как ограничена область применения понятий, казавшихся только что совершенно определенными и беспроблемными. Достаточно вспомнить только о таких понятиях, как «место» и «скорость».

Спор принимал все более философский характер.

— Я не знаю, — говорил Нильс, — что значит выражение «смысл жизни». Слово «смысл» должно быть связано с чем-то, о смысле чего говорят. А жизнь — это целое, это мир, которым мы живем, и нет ничего другого, с чем это можно было бы связать.

— Но мы все же знаем, что имеется в виду, — возразил Вернер. Нильс задумался, а затем сказал:

— Нет, смысл жизни состоит в том, что нет никакого смысла говорить, что жизнь имеет смысл.

Побрившись, Нильс, глядя в зеркало, спросил: «Выглядела ли бы кошка интеллигентнее, если б ее побрить?» После еды мыли грязную посуду в тазике, потом споласкивали и вытирали. Нильс вернулся к занимавшему его вопросу:

— Язык как эта вода. Вот у нас грязная вода и грязное полотенце, а все же этого достаточно, чтобы тарелки

и стаканы стали чистыми. Так и в языке у нас имеются неясные понятия и ограниченная логика их употребления, и все-таки удается с их помощью внести ясность в понимание природы.

Не только ученые, но и писатели в большей или меньшей степени отмечали эту особенность человеческой речи. Но никто не обращался к этой особенности столь полно и разносторонне, как Л. Толстой. Она стала одной из главнейших идейно-стилистических черт его творчества. Указание на разрыв слова и дела, на несоответствие формы и сути проявляется и при описании действий и мыслей персонажей, и в случаях открытого, публицистического выступления автора.

Показателен следующий пример из романа «Война и мир».

Когда Пьер вернулся домой, ему подали две принесенные в этот день афиши Растопчина.

В первой говорилось о том, что слух, будто графом Растопчиным запрещен выезд из Москвы — несправедлив, и что напротив граф Растопчин рад, что из Москвы выезжают барыни и купеческие жены. «Меньше страху, меньше новостей», говорилось в афише, «но я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет». Эти слова в первый раз ясно показали Пьеру, что французы будут в Москве.

Любопытно продолжение этой темы в разговоре Пьера с княжной:

— Но вам это неправильно доносят, — сказал Пьер. — В городе все тихо, и опасности никакой нет. Вот я сейчас читал... — Пьер показал княжне афишки. — Граф пишет, что он жизнью отвечает, что неприятель не будет в Москве.

— Ах, этот ваш граф, — с злобой заговорила княжна, — это лицемер...

Но особенно резко и сильно «срывание масок» посредством словесного разоблачения выступает в суждениях писателя о буржуазной философии, историографии, науке вообще и др. Так, в «Войне и мире» читаем:

Если допустить, как то делают историки, что великие люди ведут человечество к достижению известных целей, состоящих или в величии России или Франции, или в равновесии Европы, или в разнесении идей революции, или в общем прогрессе, или в чем бы то ни было, то невозможно объяснить явлений истории без понятий о *случае* и о *гении.*

«Но что такое *случай?* Что такое *гений?*» — спрашивает писатель. Ведь из того, что найдено какое-то слово, как-то обозначено происходящее, еще не следует, что объяснено явление, выявлена сущность процесса. Л. Толстой продолжает:

Слова *случай* и *гений* не обозначают ничего действительно существующего, и потому не могут быть определены. Слова эти только обозначают известную степень понимания явлений. Я не знаю, почему происходит такое-то явление; думаю, что не могу знать: потому не хочу знать и говорю: *случай.* Я вижу силу, производящую несоразмерное с общечеловеческими свойствами действие, не понимаю, почему это происходит и говорю: *гений.*

И дальше этот тезис конкретизируется, развивается применительно к роли Наполеона, оценке его историками.

Позже, как бы подводя итог различным историческим концепциям, Л. Толстой писал: «...духовная деятельность, просвещение, цивилизация, культура, идея, — все это понятия неясные, неопределенные, под знаменем которых весьма удобно употреблять слова, имеющие еще менее ясного значения и потому легко подставляемые под всякие теории».

Аналогично характеризуются, оцениваются и ходовые тогда философские понятия. Левин в «Анне Карениной» задумывается о смысле жизни:

Мысли эти томили и мучали его то слабее, то сильнее, но никогда не покидали его. Он читал и думал, и чем больше он читал и думал, тем дальше чувствовал себя от преследуемой им цели...

Мысли казались ему плодотворны, когда он или читал или сам придумывал опровержения против других учений, в особенности против материалистического; но как только он читал или сам придумывал разрешение вопросов, так всегда повторялось одно и то же. Следуя данному определению неясных слов, как *дух, воля, свобода, субстанция,* нарочно вдаваясь в ту ловушку слов, которую ставили ему философы или он сам себе, он начинал как будто что-то понимать. Но стоило забыть искусственный ход мысли и из жизни вернуться к тому, что удовлетворяло, когда он думал, следуя данной нити, — и вдруг вся эта искусственная постройка заваливалась, как карточный дом, и ясно было, что постройка была сделана из тех же перестановленных слов, независимо от чего-то более важного в жизни, чем разум.

Красивые фразы, высокие, ученые слова при столкновении с реальной жизнью, с простотой действительности,

стремится показать Л. Толстой, разбиваются, теряют всякий смысл, всякое значение. Эту важную идейно-стилистическую особенность художественного мышления, творчества Л. Толстого открыл и объяснил академик В. В. Виноградов, который писал («О языке Толстого»): «Слова могут быть лишь прикрытием, а не раскрытием истинного содержания сознания. Они бывают пустой фразой, позой, искусственно выставляющей какую-нибудь мнимую, навязанную ложными понятиями черту характера, эмоцию. Разоблачение таких фраз составляет индивидуальную особенность стиля Л. Толстого».

Об этом разоблачении писателем красивых фраз и условности философской терминологии либерализма писал В. И. Ленин в статье «Л. Н. Толстой»:

Посмотрите на оценку Толстого либеральными газетами. Они отделываются теми пустыми, казенно-либеральными, избито-профессорскими фразами о «голосе цивилизованного человечества», о «единодушном отклике мира», об «идеях правды, добра» и т. д., за которые так бичевал Толстой — и справедливо бичевал — буржуазную науку. Они *не могут* высказать прямо и ясно своей оценки взглядов Толстого на государство, на церковь, на частную поземельную собственность, на капитализм... потому, что каждое положение в критике Толстого есть пощечина буржуазному либерализму; — потому, что одна уже безбоязненная, открытая, беспощадно-резкая *постановка* Толстым самых больных, самых проклятых вопросов нашего времени *бьет в лицо* шаблонным фразам, избитым вывертам, уклончивой, «цивилизованной» лжи нашей либеральной (и либерально-народнической) публицистики.

Слово оказывается сложным, многомерным. Оно может быть и сухим, мертвым, то вдруг поворачивается такими гранями, которые заставляют сверкать и переливаться всеми красками нашу речь. Понять главные особенности слова, увидеть все его стороны, использовать его так, чтобы как на ладони донести до собеседника нашу мысль — это и значит владеть словом. А для этого необходимо проникнуть в глубины языка, понять его механизм, научиться бережному, любовному обращению со словом.

Наш язык гибок и точен, он позволяет выразить тонкие оттенки смысла. Но нужно их видеть, чувствовать, только при этом условии можно говорить о подлинной культуре речи, о владении родным языком.

Говорят, что в споре не всегда побеждает тот, на стороне кого истина. Отчего же это происходит? Отчего ложь оказывается сильнее? Оттого, что спорят не понятия, а люди, что в споре на равных правах выступают разум и чувство, а ум, как известно, может быть не в ладу с сердцем. В полемике большое значение имеет умение держаться, говорить уверенно и хладнокровно, метко и остроумно. Важно умение слушать и быстро анализировать речь оппонента и, в свою очередь, удачно организовать свою речь. Причем здесь можно уже говорить не о «владении словом», а о владении речью, не просто о понимании характера, особенностей, возможностей слова, но об умении их организовать, использовать.

Три стороны, три аспекта оказываются определяющими — логика, психология и язык. Последнее особенно важно, ибо все выражается, все (доводы, факты, цифры) выступает, все доносится до слушателя языком, посредством речи. Всегда необходимо найти такую форму выражения, которая в желательном направлении подействовала бы на слушателя, на того, кого мы стараемся убедить. В этом и заключается искусство речи. Мало просто хорошо высказаться, мало быть убедительным вообще: Сократ произнес прекрасную речь в свою защиту, но афинские матросы и торговцы его не поняли и приговорили к смерти за «неправильные философские воззрения», как заметил однажды М. Зощенко. Надо быть убедительным для тех или для того, кого убеждаешь.

В рассказе А. П. Чехова «Дома» прокурор окружного суда хочет убедить своего малолетнего сына в том, что таскать табак и курить нехорошо. Не случайно Чехов выбрал в герои именно прокурора, юриста, так сказать, профессионального оратора, специалиста, социальное назначение которого в том и состоит, чтобы уметь убеждать. Отец сначала эмоционально осуждает мальчика: «Я тебя не люблю, и ты мне не сын...» Однако это не действует, не кажется ребенку правомерным или справедливым. Мальчик-то знает точно, что он все-таки сын, и отец его любит — на то он и отец. Тогда прокурор переходит на привычные категории судебной речи, использует логику: «Ты не имеешь права брать табак,

который тебе не принадлежит. Каждый человек имеет право пользоваться только своим собственным добром». Все справедливо, но не действует. Отец обращается к медицинской стороне вопроса: «Особенно же вредно курить таким маленьким, как ты. У тебя грудь слабая...» Наконец, переводит разговор в морально-психологический план и т. п. Не действует, хотя все логически безупречно, сказано совершенно понятно, доступным, казалось бы, языком. И тут уже было отчаявшийся родитель вдруг понимает: «Чтобы овладеть его вниманием и сознанием, недостаточно подтасовываться под его язык, но нужно также уметь и мыслить на его манер». После этого приходит верное решение: «Слушай, — начал он... — В некотором царстве, в некотором государстве жил-был себе старый, престарый царь...» У старого царя был единственный сын, который курил. От курения царевич умер. Дряхлый и болезненный старик остался без всякой помощи. На Сережу вся сказка произвела сильное впечатление. Он вздрогнул и сказал упавшим голосом: «Не буду я больше курить...»

Пусть нас не смущает примитивизм и, может быть, необычность примера. Сам принцип аргументации абсолютно верно указан писателем. Формой, которая обеспечила убедительность речи для данного конкретного слушателя, стала сказка. В других случаях, возможно, сказка и не подействует. К сожалению, а может быть, к счастью — панацеи здесь не существует. Необходимо творчество.

Но прежде всего нужно знать технику аргументации, особые приемы рассуждения и построения речи. Целенаправленно этому обучали еще древнегреческие риторы. Учили на примерах, казусах. Вот, скажем, такая история. Молодой человек по имени Эватл поступил в ученье к философу Протагору, который согласился обучать его ораторскому искусству. Договорились, что заплатит за науку Эватл после первого выигранного им судебного процесса, т. е. тогда, когда на практике скажутся результаты ученья. Пройдя курс обучения, Эватл заявил Протагору, что денег ему платить не будет. Пусть Протагор подает в суд. И если процесс выиграет Эватл, то не о чем будет говорить: закон есть закон. Если же суд окажется на стороне Протагора, то и тогда Эватл не будет ему платить: ведь он проиграет свой первый судебный процесс. Протагор на это только усмехнулся и возразил,

что в любом случае молодой нечестивец должен будет ему заплатить: если решение суда будет в пользу Протагора, то Эватл обязан будет заплатить: закон есть закон. Если же суд решит дело в пользу Эватла, то придется вспомнить об условии: платить за первый выигранный судебный процесс.

Так заплатит или не заплатит Эватл учителю? Как решить это дело? Так думаем мы, а для древних греков в этой притче важно было другое — определить, в чем ошибка, неточность рассуждения. Если мы научаемся точно и быстро видеть ошибку, то мы легко найдем и верный путь к истине. Если вам стало скучно, ответьте на такой вопрос: чем больше учишься, чем больше знаешь, тем больше забываешь; а чем больше забываешь, тем меньше знаешь, — так для чего учиться?

«Софистика все это», — говорим мы, забывая, что корень этого слова значит 'мудрость', что древнегреческие софисты были не только мудрыми, но во многих отношениях передовыми и прогрессивными людьми. «Схоластика», — говорим мы, забывая, что это слово одного корня со словом *школа.* В древнегреческой школе, куда ребенка отводил «педагог» — один из рабов-воспитателей, учили музыке и гимнастике. «Музыке» — значит всему, что находилось под покровительством муз — чтению, письму, счету, в том числе и музыке (в нашем смысле). Сначала учили «граммам», т. е. буквам (отсюда слово «грамматика»), затем ученье усложнялось. Юноши сидели скромно, сомкнув ноги, не проронив ни одного лишнего слова.

«Что быстрее всего?» — спрашивал учитель. Отвечать нужно было сразу и четко: «Быстрее всего ум». — «Что сильнее всего?» — «Сильнее всего необходимость, ибо она имеет власть над всем». — «Что мудрее всего?» — «Мудрее всего время, ибо оно открывает все». — «Что труднее всего?» — «Познать самого себя». — «А что легко?» — «Дать совет другому». — «Каким образом легче всего переносить несчастье?» — «Если испытывающий несчастье будет видеть, что враги его еще более несчастны». — «Каким образом нам прожить наилучше и наисправедливее?» — «Если мы сами не будем делать того, что порицаем в других».

История человечества — это история находок и открытий, но это также история ошибок и заблуждений. Разве не очевидно: хочешь согреться — двигайся, сле-

довательно: тепло есть движение; тяжелые предметы, естественно, падают быстрее легких; поскольку небесной тверди нет, то лгут те, кто утверждают, будто с неба могут падать камни (метеориты); громоотвод опасен, так как притягивает молнии; каждый знает, что на пригорке весной снег тает быстрее, чем в низине, однако находятся чудаки, уверяющие, будто на высоких горах снег лежит и летом, когда в долинах цветут сады... Попробуйте доказать, что это не так?

Конечно, самый лучший способ доказательства — доказательство фактами, но факты также нужно уметь подать. В. И. Ленин писал: «Точные факты, бесспорные факты ...вот что особенно необходимо, если хотеть серьезно разобраться в сложном и трудном вопросе...

В области явлений общественных нет приема более распространенного и более несостоятельного, как выхватывание *отдельных* фактиков, игра в примеры. Подобрать примеры вообще — не стоит никакого труда, но и значения это не имеет никакого, или чисто отрицательное, ибо все дело в исторической конкретной обстановке отдельных случаев. Факты, если взять их в их *целом,* в их *связи,* не только «упрямая», но и безусловно доказательная вещь. Фактики, если они берутся вне целого, вне связи, если они отрывочны и произвольны, являются именно только игрушкой или кое-чем еще похуже» (Полн. собр. соч. — Т. 30. — С. 350).

Об одних и тех же фактах можно рассказать по-разному, по-разному можно раскрыть те или иные понятия. Все зависит от того, какие языковые средства мы отбираем и какие приемы организации речи используем. Это прекрасно показал Л. Н. Толстой на примере объяснения действия паровой машины:

«Положим — мне нужно рассказать, что двигается посредством паров. Своему брату я говорю: сила пара движет поршни, поршни приводят в движение ось, ось поворачивает колеса, а колеса, упирая в воду, движут вперед корабль, называемый пароход. — Свысока спускавшийся до народа народный учитель расскажет это так: Есть такая сила воды, называемая пар, вот этот-то самый пар, когда его запрут, начинает толкаться, проситься вон. Вот когда соберут этого пара много, то он имеет силу надавить и даже, ежели не поддается та вещь, которую надавит, то он ее сдвинет; вот и устроены как бы барабаны пустые и в них пробки. К пробкам при-

деланы такие палки, а палки уперты в колена и т. д. — Учитель, заботящийся о народности, скажет так: как поставит баба чугун в печь (хорошо еще, ежели он не скажет: вот, братцы мои, я вам всю правду-матку отрежу и т. д.), начнет на нем крышка прыгать. Видал? Ну, видал — так смекай, кто ее двигает, крышку-то? Сила? Так, верно. Вот эта-то сила и есть, что пароход двигает, что глупые люди чертовыми крыльями называют. Это не чертовы крылья, а силы природы-матушки, которыми всякой человек воспользоваться должен. Все дано на благо человеку. Вот эта сила называется пар и т. д. — Народный учитель — педант расскажет так: все, что движет, все есть сила. Сил в природе много, вы знаете их — сила человека, лошади, воды, сила огня, — такая же сила — пар. Пар есть вода. — Учитель-дама расскажет так: когда мы едем на пароходе, милые дети, нам кажется удивительным, что мы едем так скоро и что нет ни лошади, ни паруса. Надо подумать, что же это за сила. Я вам расскажу, дети, и постараюсь быть вам нескучной. Ничто не будет скучно, ежели мы будем любить учиться и не скучать за книжкой, и т. д. — Умный мужик, который езжал на пароходе, вернувшись домой, расскажет так: сделан котел, под котлом топка, пар не пущают, а проведен в машину. Машина проведена к колесам — она и бежит. А за нее сколько нужно коляски цепляются. — Всякий крестьянин поймет из этого то, что ему нужно понять, и только потому, что это сказано хорошим русским языком».

Есть свои приемы и у полемики, например: утрирование, сведение к абсурду. Так, В. Вересаев рассказывал про знаменитейшего русского адвоката Ф. Н. Плевако. Однажды он защищал старушку, укравшую жестяной чайник. Прокурор, зная силу Плевако, решил заранее парализовать влияние защитительной речи и сам высказал все, что можно было сказать в защиту старушки: бедная старушка, горькая нужда, кража незначительная, подсудимая вызывает не негодование, а только жалость. Но... но собственность священна, все наше гражданское благоустройство держится на собственности, если мы позволим людям потрясать ее, то страна погибнет. Поднялся Плевако:

— Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за ее больше чем тысячелетнее существование...

Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... Старушка украла старый чайник ценою в тридцать копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно.

Что ж вы думаете? Оправдали. Кто знает, какое бы решение вынес суд, если б Плевако не предпринял этот «обходной маневр», а стал бы прямо разоблачать демагогию речи прокурора, его разглагольствований о «священной собственности» и погибели страны.

В истории самодержавной России красноречие не играло большой роли, но это не значит, что у нас не было талантливых ораторов. Их рождала жизнь, что и отразила литература. Далеко не всегда герой литературного произведения подтверждает характеристику, данную ему автором: автор говорит, что герой — человек тактичный, а читатель видит, что герой поступает бестактно; автор говорит, что герой остроумен, но не может этого показать, шутки героя неудачны, остроты плоски, пошлы. И. С. Тургенев выделяет в романе «Рудин» блестящее красноречие героя («Рудин говорил умно, горячо, дельно...»), его умение убеждать. И эта характеристика подтверждается наглядно, на ряде примеров. Читатель сам может убедиться в том, насколько Дмитрий Рудин владеет речью.

Мы вспомнили роман И. Тургенева вовсе не для того, чтобы анализировать его художественные достоинства или разбирать характеры персонажей. Нас интересует другое: в романе противопоставлены две манеры, два способа ведения полемики. Первый олицетворяет «озлобленный противу всего и всех» господин Пигасов, о котором сказано: «В споре он сперва подтрунивал над противником, потом становился грубым...» Совершенно иной тактики придерживался Рудин; он возражал со «спокойствием и изящной учтивостью». Как же учтивость побеждает грубость? (Ведь Пигасов совершенно разбит в споре, уничтожен.)

И Тургенев показывает нам это на первых же страницах. Пигасов резко выступает против «умствований», «убеждений», «рассуждений», ему нужны факты, голые факты:

— Общие рассуждения! — продолжал Пигасов, — смерть моя эти общие рассуждения, обозрения, заключения! Все это

основано на так называемых убеждениях; всякий толкует о своих убеждениях и еще уважения к ним требует, носится с ними... Эх!..

— Прекрасно! — промолвил Рудин, — стало быть, по-вашему, убеждений нет?

— Нет — и не существует.

— Это ваше убеждение?

— Да.

— Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай.

Все в комнате улыбнулись и переглянулись.

Оригинальное и сильное средство использовал Рудин. Но не он его придумал. Древнегреческие софисты, видя слабость человеческих чувств и разума и не видя их силы в познании мира, провозгласили: «Истинных суждений не существует». Им возразили: утверждение «истинных суждений не существует» само является суждением. И если верно, что истинных суждений нет, следовательно, и это суждение неистинно, а верно другое, противоположное — истинные суждения есть. Говорят: нет правил без исключения. Это стараются выдать за всеобщее правило. Но если это так, то само это правило не имеет исключений, и, следовательно, вот одно правило без исключений, на первый случай.

Легко увидеть во всех этих опровержениях одну схему, один прием. Конечно, опровергнуть тот или иной тезис можно по-разному. Скажем, доказать, что истинные суждения существуют, можно, проведя сопоставление какого-то суждения с фактами, явлениями реальной действительности, сославшись на непререкаемый авторитет, и т. п. Но нельзя не признать, что соответствующий полемический прием помогает одержать победу быструю и полную. С другой стороны, важно понимать, видеть прием, используемый противником. Если бы Пигасов был несколько более искушен в полемике (до Рудина он не встречал достойных противников), он не попался бы так легко в ловушку.

Полемическое искусство Рудина показано автором широко и многообразно. Вот еще один пример. Рудин продолжал:

— ...Вы не верите в пользу общих рассуждений, вы не верите в убеждения... Вы ни во что не верите... Почему же верите вы в факты?

— Как почему? вот прекрасно! Факты дело известное, вся-

кий знает, что такое факты... Я сужу о них по опыту, по собственному чувству.

— Да разве чувство не может обмануть вас! Чувство вам говорит, что солнце вокруг земли ходит... или, может быть, вы не согласны с Коперником?..

И снова мы видим, здесь удачный тактический ход опытного полемиста: общее положение о роли чувства, выдвинутое Пигасовым, разрушается при столкновении с конкретным примером («солнце вокруг земли ходит»).

Языковые формы, действительно, активно участвуют в конструировании полемических приемов. И хотя мы нарочно привели в качестве примера такие приемы, которые построены на логических отношениях элементов и могут быть представлены как логические схемы, в них нельзя не видеть большого значения языковых элементов. Например, логика не требует многократного повторения и варьирования слов; с логической точки зрения, достаточно спросить: если вы ни во что не верите, то почему вы верите в факты? Но повтор, нагнетание однородных единиц эффектно выделяют противоречие. Форма риторического вопроса: «Да разве чувство не может обмануть вас!» сильнее, чем простое утверждение: «чувство может обмануть». Точно так же абстрактные формы научной речи в последнем примере удачно гармонируют с содержанием, существом спорного вопроса. Конечно, существенны в этом случае уже не столько языковые элементы сами по себе, сколько их организация, их взаимодействие. Организация языковых средств определяет и характер освещения фактов и степень воздействия на слушателя или читателя. Хорошо писал об этом античный филолог (Деметрий): «Все привычное низменно и поэтому не вызывает удивления: Гомер и Нирея, личность незначительную, и его военные средства, бывшие довольно ничтожными, — три корабля и немногих людей — возвеличил и сделал из малых большими, употребив двойную и смешанную фигуру, анафору и разделение:

Три корабля соразмерных приплыли от острова Симы,
Вслед заНиреем, потомком Харопа царя и Аглаи,
Вслед за Ниреем, который из греков, пришедших под Трою,
Всех был прекрасней лицом, кроме славного сына Пелея.

(Ил. II 671 сл.)

Анафора имени выдвигает Нирея, а расчленение производит впечатление множества средств, хотя они состоят всего из двух или трех предметов. И хотя он говорит в своей поэме о Нирее только один раз, мы помним его не хуже, чем Ахилла или Одиссея, которые упоминаются чуть не в каждом стихе. Причина этого — сила фигуры. Если бы он сказал «Нирей, сын Аглаи из Симы, привел три корабля», это равнялось бы умолчанию о Нирее».

Фигура — это и есть своеобразное речевое построение, средство выразительности. Когда-то учение о фигурах было составной частью риторики, сейчас фигуры начинают привлекать внимание лингвистов. Долгое время лингвистика занималась двумя единицами — словом и предложением. Только сейчас наметился выход в структуры больше предложения, в сверхфразовые единства, в текст. Одной из главных задач современной лингвистики текста является выделение и структурный анализ типов речи: описания, повествования, рассуждения.

Различия этих типов весьма значительны, и, соответственно, различна степень владения нами каждым из этих типов. Так, Рудин, прекрасно развертывая рассуждение, слабо владел описанием. Показательно, что и как говорит об этом И. С. Тургенев:

Рудин начал рассказывать. Рассказывал он не совсем удачно. В описаниях его недоставало красок. Он не умел смешить. Впрочем, Рудин от рассказов... скоро перешел к общим рассуждениям о значении просвещения и науки, об университетах и жизни университетской вообще. Широкими и смелыми чертами набросал он громадную картину. Все слушали его с глубоким вниманием. Он говорил мастерски, увлекательно...

Можно было бы думать, что описание и повествование требуют красок, а рассуждения, полемика основываются на формах «сухих», научно-логических. Верное для многих случаев, это положение не универсально. И. С. Тургенев не один раз говорит об образности полемических рассуждений своего героя:

Обилие мыслей мешало Рудину выражаться определительно и точно. Образы сменялись образами; сравнения, то неожиданно смелые, то поразительно верные, возникали за сравнениями.

И тут же отбрасывается возможное предположение об искусственности, деланности, напыщенности речи:

Не самодовольной изысканностью опытного говоруна — вдохновением дышала его нетерпеливая импровизация. Он не

искал слов: они сами послушно и свободно приходили к нему на уста, и каждое слово, казалось, так и лилось прямо из души, пылало всем жаром убеждения. Рудин владел едва ли не высшей тайной — музыкой красноречия.

Тургенев не только говорит о красноречии Рудина, но и показывает, в чем оно заключалось. Приведем два примера, хорошо иллюстрирующих как логическую сторону, так и образность полемических, убеждающих речей Рудина.

Вот Пигасов в «дурной» своей манере восклицает:

Образованность! говорите вы, — подхватил Пигасов, — вот еще чем удивить вздумали! Очень нужна она, эта хваленая образованность! Гроша медного не дам за вашу образованность!

Поток бранных слов, обилие эмоций и никакой аргументации. И вот реакция Рудина:

Образованность я защищать не стану... она не нуждается в моей защите. Вы ее не любите... у всякого свой вкус. Притом это завело бы нас слишком далеко. Позвольте вам только напомнить старинную поговорку: «Юпитер, ты сердишься: стало быть, ты виноват». Я хотел сказать, что все эти нападения на системы, на общие рассуждения и так далее потому особенно огорчительны, что вместе с системами люди отрицают вообще знание, науки и веру в нее, стало быть и веру в самих себя, в свои силы. А людям нужна эта вера: им нельзя жить одними впечатлениями, им грешно бояться мысли и не доверять ей. Скептицизм всегда отличался бесплодностью и бессилием...

Рудин легко отбил нападки на образованность и решительно осудил защиту невежества со стороны своего оппонента. И вместе с тем он отказался защищать образованность, и нигде — ни здесь, ни в других частях романа — мы не найдем прямого осуждения; он не назвал оппонента невеждой, реакционером, мракобесом и т. п. В этом и проявляется его «изящная учтивость».

Рудин начинает с того, что отказывается защищать образованность. В действительности он ее защищает, защищает знание, науку. Причем формальный отказ — эффективный полемический прием — и только. Оратор может сказать: не стану останавливаться на таком-то факте, но тем самым факт уже отмечен, выделен, на него обращено внимание. И дальше сила и убедительность речи во многом объясняются использованием особых,

объективирующих форм речи. «У всякого свой вкус». Конечно, это объективная констатация явления, но в этом и осуждение противника: слушатели прекрасно понимают смысл этого оборота вежливости.

Изучение полемических приемов, общих особенностей полемической речи, ее структуры — актуальная задача современной стилистики текста. Только в этом случае удастся проблемы «искусства полемики» из области логико-психологической вернуть в область лингвистики.

Почему мы говорим — «вернуть»? Да потому, что эти проблемы основательно разрабатывались классической риторикой, наукой об общем строении речи, всякой речи (конечно, прежде всего ораторской), а не только художественной, которой долгое время занималась стилистика. Риторической разработке подвергались как общие, так и частные особенности речи. Главным достоинством риторики была цельность подхода, учет соотношения используемых говорящим средств и целевой установки. Римский теоретик красноречия Квинтилиан писал об этом достаточно определенно: «Прежде всего надобно знать, что нужно нам в речи увеличить или унизить, что произнести стремительно или скромно; забавно или важно; пространно или кратко; грубо или нежно; пышно или тонко; величаво или вежливо; а после рассудить, какими лучше иносказаниями, какими фигурами, какими мыслями, в какой степени и в каком расположении можем достигнуть нашего намерения».

Риторика указывала не только то, к какой манере, стилю, типу речи прилично прибегнуть в том или ином случае, но и то, как сделать речь образной, лаконичной, афористичной. Менее были разработаны полемические приемы, но вообще аргументации уделялось серьезное внимание.

Позже, в XIX в., был сделан значительный шаг назад в изучении риторики. Соответствующие пособия превратились в собрания «уловок», «хитростей». В одном трактате по искусству ведения полемики буржуазный философ советовал, например, «возбуждать гнев противника, так как под впечатлением гнева он не в состоянии судить правильно и замечать свои преимущества. Вызывается же гнев тем, что к противнику придираются и относятся явно несправедливо и вообще бессовестно». Или: «Когда замечаешь, что противник сильнее, будь с

ним личен, оскорбителен и груб...» Об исходных представлениях автора можно судить по такого рода суждениям. «Нет даже такого нелепого мнения, которого люди легко не усвоили бы себе, как только удается убедить их, что оно общепринято. Пример влияет и на их мысли так же, как на их поступки. Это овцы, которые идут за ведущим их бараном и которым легче умереть, чем мыслить».

Для уважающего себя и своих слушателей полемиста подобные советы неприемлемы. Полемическим уловкам необходимо противопоставить аргументативную тактику, которая представляет собою «высший пилотаж», высшую ступень владения словом, культурой речи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Замечательный писатель и великий гуманист В. Г. Короленко однажды записал: «Мне страшно и подумать, что моим детям был бы непонятен мой язык, а за ним — и мои понятия, мечты, стремления, моя любовь к своей бедной природе, к своему родному народу, к своей соломенной деревне, к своей стране, которой, хорошо ли, плохо ли, служишь сам».

Язык — ключ к драгоценному наследию прошлого, инструмент, позволяющий овладеть накопленными богатствами, совершенными достижениями человеческой культуры, человеческой мысли. Но и сам этот инструмент и сложен, и имеет свою историю. Овладеть им необходимо и для постижения прошлого, и для достижения будущего, о котором мечтало человечество. Слово оказывается не только ключом, но и орудием, мощным и сильным. Второе «я» А. Франса, гуманист-мыслитель Бержере говорит о несправедливости, царящей в мире, и на вопрос дочери: «А как уничтожить его, папа? Как изменить мир?» отвечает:

— Словом! Нет ничего могущественнее слова, дитя мое. Веские доводы в соединении с возвышенными мыслями представляют собой цепь, которую невозможно разорвать. Слово, как праща Давида, разит насильников и повергает долу могучих. Это непобедимое оружие. И хочется, чтобы каждый помнил завет гениального пророка и мыслителя, помнил мудрость Л. Толстого: «Слово — дело великое. Великое потому, что словом можно соединить людей, словом можно и разъединить их, словом служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти. Берегись от такого слова, которое разъединяет людей».

СОДЕРЖАНИЕ

Учебное издание

Одинцов Виктор Васильевич

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ

Зав. редакцией *А. В. Прудникова*
Редактор *И. И. Нестеренко*
Младший редактор *Т. Л. Тихомирова*
Художники *Е. В. Никитин, В. И. Гинуков*
Художественный редактор *И. В. Короткова*
Технические редакторы *В. И. Тушева, О. И. Савельева*
Корректор *О. В. Ивашкина*

ИБ № 11250

Сдано в набор 08.07.87. Подписано к печати 29.12.87. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бум. кн.-журн. отеч. Гарнит. литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 9,24. Усл. кр.-отт. 9,66. Уч.-изд. л. 9,20. Тираж 263 000 экз. Заказ № 768. Цена 40 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129846, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

выйдут в 1988 году

книги о языке
для внеклассного чтения учащихся:

Ю. А. ГВОЗДАРЕВ. Рассказы о русской фразеологии. Серия «Мир знаний».

И. Б. ГОЛУБ, Д. Э. РОЗЕНТАЛЬ. Занимательная стилистика

А. П. ЖУРАВЛЕВ. Языковые игры на компьютере

И. Г. МИЛОСЛАВСКИЙ. Зачем нужна грамматика? Серия «Мир знаний»

словарь русского языка
для учащихся:

В. П. ЖУКОВ, А. В. ЖУКОВ. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 2-е изд., перераб.

40 коп.

